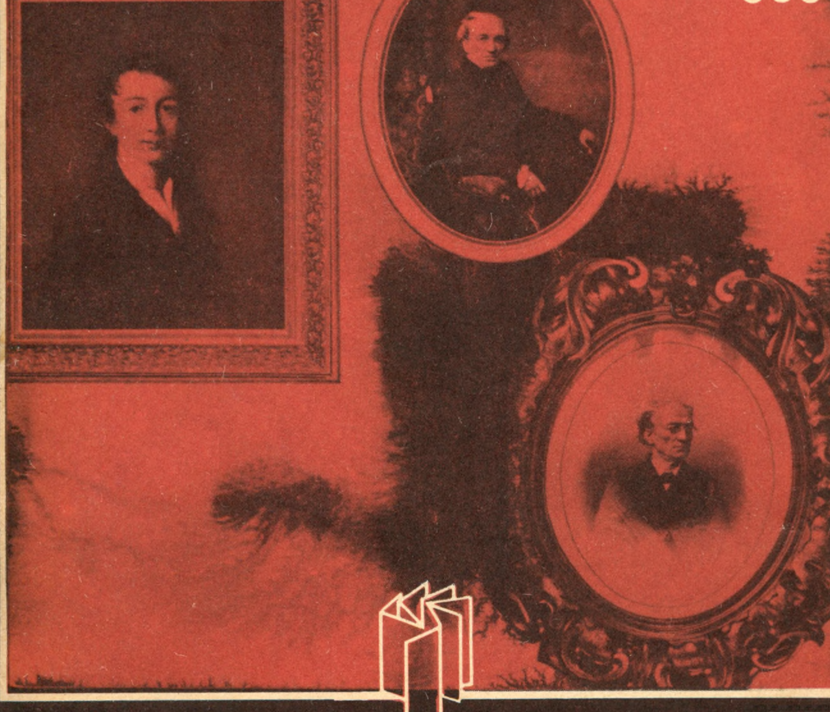
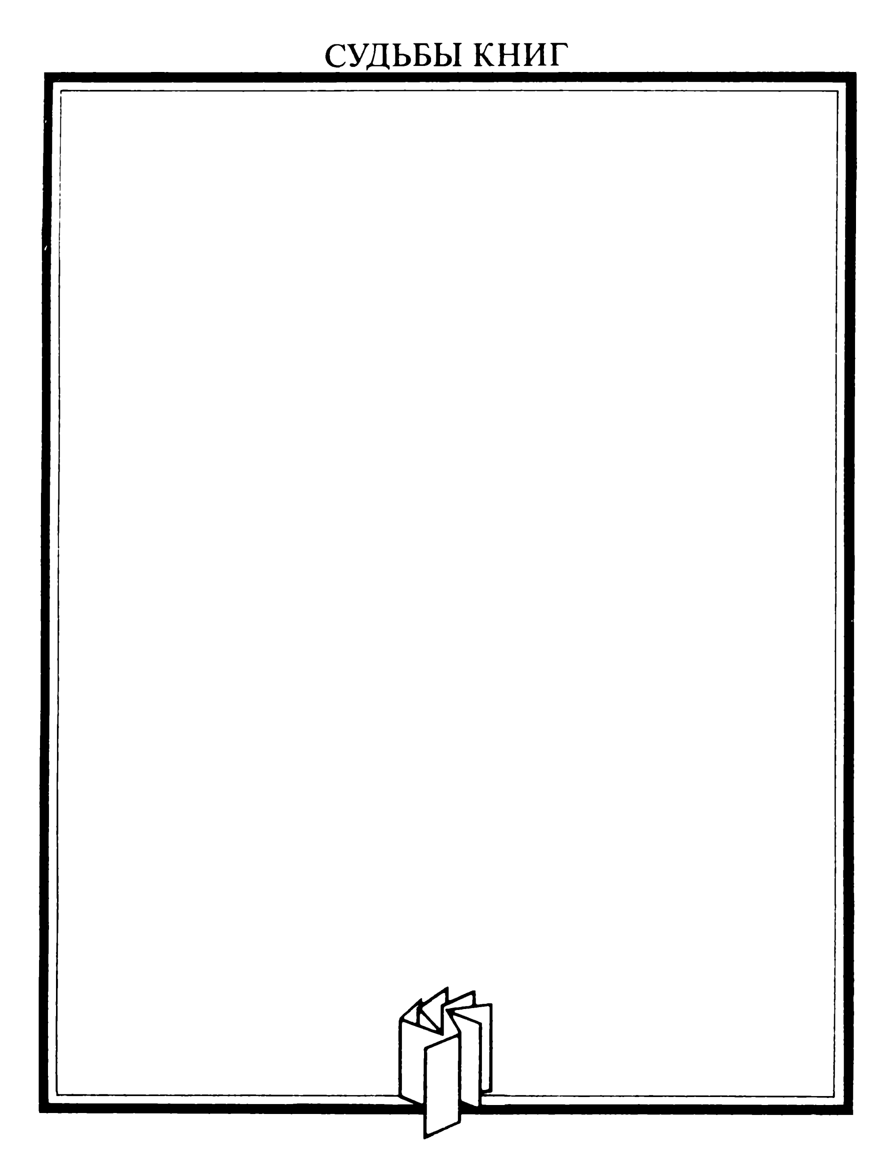
СУДЬБЫ КНИГ

А. Л. ОСПОВАТ

„КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ"...







А. Л. ОСПОВАТ

„КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ“

О ПЕРВОМ СБОРНИКЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА

МОСКВА «КНИГА» 1980

ББК 76.1
О 75

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

О $\frac{61001\text{-}061}{002(01)\text{-}80}$ 7-80 4503000000

ОГЛАВЛЕНИЕ

Каждая книга имеет не только свою судьбу, но и свое прошлое, которое иногда важно знать.

Ю. Н. Тынянов

«ТОМОВ ПРЕМНОГИХ ТЯЖЕЛЕЙ»

Примерно в декабре 1858 года у А. А. Фета и графини М. Н. Толстой (сестры писателя) вышел нешуточный спор о Тютчеве. Ход разговора теперь уже невосстановим, но можно предположить, что в тот московский вечер Фет знакомил собеседницу со своей восторженной статьей о Тютчеве, которая через два месяца появится в «Русском слове», — и не нашел поддержки.

О возникшем разномыслии Фет написал И. С. Тургеневу в Петербург. 27 декабря 1858 года Тургенев отвечал: «Что же касается до вашего спора о Тютчеве с Марией Николаевной — о Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии — und damit Punctum* »[1].

Этот эпизод относится ко времени наивысшей популярности поэта, которой он во многом обязан именно Тургеневу. Ни одно событие в долгой литературной судьбе Тютчева не было столь значительным, как выход в 1854 году его первого сборника, подготовленного редакционным активом «Современника». Более того, в представлении читателей книжка 1854 года приобретает уникальный характер в точном смысле слова.

При жизни Тютчева вышло два сборника его стихотворений (в 1854 и 1868 годах), что, однако, не мешало современникам воспринимать поэта как автора одной книжки. «Небольшая книжка стихотворений, несколько статей по вопросам современной истории...»[2] — так обрисовал творческое наследие Тютчева И. С. Аксаков (издатель второго его сборника). Рецензируя биографию поэта, написанную

* и на этом точка *(нем.)*.

И. Аксаковым, В. Т. Авсеенко говорил о «маленькой книжечке стихотворений Тютчева, которая известна публике...»[3], тут же упомянув о двух сборниках поэта. А В. П. Мещерский, приятель Тютчева, вообще утверждал, что книжка поэта увидела свет лишь «однажды»[4].

Отчасти это можно объяснить тем, что при жизни Тютчева было опубликовано сравнительно немного его стихотворений — их вполне может собрать один сборник.

Но были и другие причины.

Часто говорят, что сборник 1854 года «открыл» крупнейшего русского поэта; дело, однако, обстояло сложнее. Облик поэта, (которому в то время было уже за пятьдесят) предстал в такой резкой определенности и законченности, что «открытие» Тютчева стало одновременно и неким подведением итога его поэтического труда. В отзывах 50-х годов присутствует — может быть, невольно — ощущение завершенности тютчевского пути.

Уже в эти годы читатели уловили общий характер поэзии Тютчева, оставляющей, по выражению позднейшего исследователя, «впечатление небывалой насыщенности раствора, тяжелой, полновесной густоты»[5]. Высокая концентрированность тютчевского слова также способствовала тому, что в сознании многих читательских поколений он воплощал тип поэта, не нуждающегося ни в продолжении речи, ни, соответственно, в приращении своей единственной книги.

Да и трудно было иначе относиться к поэту, который еще в начале 1830-х годов написал «Silentium!»:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...
. . . .

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...
. . . .

Существенно и другое. Поэтическая эпоха 50-х годов, в которую первая тютчевская книжка увидела свет и обрела сочувствие, продолжалась недолго. Интересы сменивших ее десятилетий были далеки от стиха, за дальнейшим движением поэзии Тютчева внимательный читательский глаз не следил, и сборник 1868 года

даже не мог претендовать на то, чтобы стать сколько-нибудь значительной вехой в его литературной судьбе.

В читательском восприятии второй сборник поэта как бы сливался с первым, можно даже сказать, — растворялся в нем, не меняя его объема и внешнего вида. Так происходило и с целым рядом последующих, уже посмертных, изданий. Кстати говоря, облик тютчевских сборников XIX века отвечал устойчивому представлению именно о «небольшой книжке»: формат обоих прижизненных сборников — малая осьмушка; вдвое меньшим форматом вышло издание 1883 года, которое, надо полагать, и побудило А. А. Фета воскликнуть:

Но Муза, правду соблюдая,
Глядит — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Вернемся теперь к суждению Тургенева о поэте — оно интересно не только как непосредственная оценка. Ибо Тургенев если не первый осознал, что восприятие Тютчева может быть прямо соотнесено с восприятием поэзии как таковой (прежде всего, конечно, русской), то первый заявил об этом со всей определенностью. И в самом деле: литературная судьба Тютчева, на протяжении которой он преимущественно пребывал в безвестности, тем не менее отражала сдвиги в представлении о поэзии — и в самосознании поэзии.

Примерно очертив основную тему книжки (или круг тем), автор должен сделать предварительное замечание.

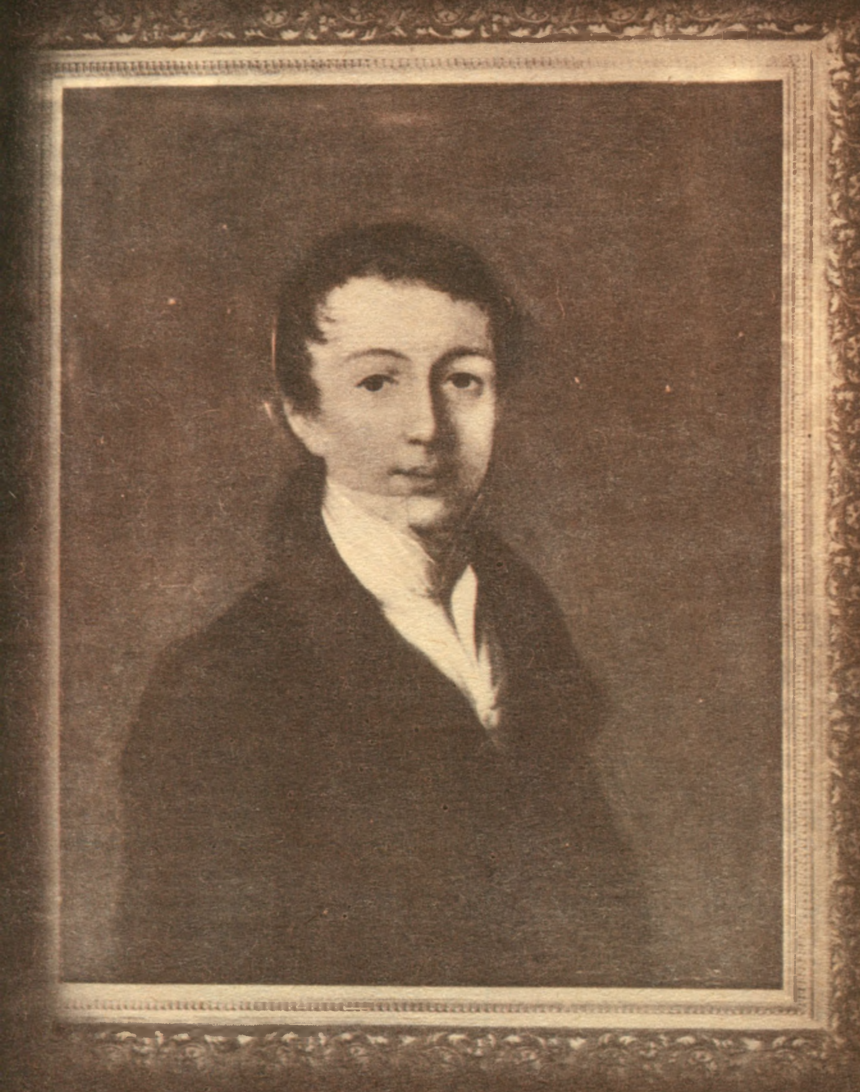
При все возрастающем интересе к Тютчеву важно помнить, что наука о поэте пока еще не располагает всем необходимым достоверным материалом, и многие наши представления страдают приблизительностью.

Увы! что нашего незнанья
И беспомощней, и грустней...

Случается же, что неудовлетворенность традиционными положениями побуждает к утверждениям совершенно противоположным, но еще менее обоснованным. Самый близкий нашей теме пример — новейший сборник Тютчева, в предисловии к которому Е. Лебедев, высказав интересные соображения, уверяет, что издание 1854 года отнюдь не прибавило поэту популярности[6].

Сбор и систематизация фактов — дело сейчас самое главное, и это во многом определило характер предлагаемой работы: в ней много цитат из разных источников, но много и уклончивых формулировок: «кажется», «быть может», «по-видимому». С другой же стороны, в тех случаях, когда материал позволял сделать выводы, — автор был по необходимости краток, учитывая небольшой объем книжки, посвященной полутора столетиям литературной судьбы Тютчева. Работа требует продолжения, и автор это хорошо понимает.

Приношу свою живейшую признательность Р. Д. Тименчику, указавшему на ряд печатных и архивных источников, и А. И. Журавлевой, рецензировавшей рукопись книжки и сделавшей полезные замечания.



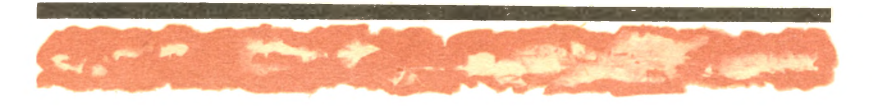
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И ТРИ ГОДА



В 1817 году, 3 июля, профессор Московского университета, поэт и критик А. Ф. Мерзляков сообщал одному из своих корреспондентов: «Тутчев в деревне. Маленькая моя академия расстроилась. Пиесы его также не читаны и по той же причине лежат у меня до будущего своего воскресения» [1].

Федору Тютчеву еще нет и четырнадцати лет, лекции Мерзлякова он посещает как вольнослушатель, но уже входит в узкий, по-видимому, кружок молодых людей, чьи способности замечены и поощряются профессором словесности. Вероятно, «пиесы» Тютчева недолго ждали «своего воскресения» — можно предположить, что осенью того же года, когда возобновились занятия, собрания в «академии» Мерзлякова пошли обычным чередом.

Вскоре, 22 февраля 1818 года, стихотворение Тютчева «Вельможа. Подражание Горацию» было прочитано Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности, которое 30 марта избрало автора своим сотрудником. Исследователи полагают, что это то самое стихотворение, которое в сохранившемся автографе озаглавлено «На новый 1816 год»; иными словами, почтенная аудитория одобрила произведение, написанное двенадцатилетним поэтом.



О Время! Вечности подвижное зерцало! —
Все рушится, падет под дланию твоей!..
Сокрыт предел твой и начало
От слабых смертного очей!..

Понятно, почему «пиеса» Тютчева произвела серьезное впечатление на московских литераторов; гораздо менее понятно, что произошло далее.

С 1819 по 1821 год Тютчев — студент Московского университета, и все как будто благоприятствует его поэтическим занятиям. Не прерывается связь с Мерзляковым (и, наверное, с «академией»); по-прежнему опекает юношу поэт и переводчик С. Е. Раич, который был его домашним учителем и рано привил ему вкус к римской классике. Общество любителей российской словесности по достоинству оценивает его опыты, и они начинают появляться на страницах «Трудов Общества». И в университете дарование Тютчева получило признание: в 1820 году ему было поручено написать стихотворение для торжественного акта. Однако в свой «лицейский» период Тютчев сравнительно мало пишет и редко печатается. Стихотворение «На новый 1816 год» и некоторые другие произведения студенческих лет вообще увидели свет только после смерти поэта, и в этом смысле их «будущее воскресение» сильно запоздало. Вряд ли здесь дело в искусственных помехах: ничто на это не намекает.

Скорее всего уже в юности ему открылось «умолчание» — то особое творческое состояние, при котором поэтическое чувство, достигнув накального уровня, страшится растраты в слове и избирает «вдохновенную невысказанность». Трудно, конечно, утверждать, что максима: «мысль изреченная есть ложь» — в эти годы владела его литературным сознанием столь же прочно, как и десятилетие спустя, когда было написано стихотворение «Silentium!». Но, во всяком случае, к «мысли изреченной», особенно в печати, молодой Тютчев относится с осторожностью, опаской. «...Я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутр <еннего> чувства, этою по-



стыдною выставкою напоказ своих язв сердечных...»[2], — писал Тютчев много позже, и слово «всегда», очевидно, не фигура речи.

Тютчев отчетливо выделяется из среды юных стихотворцев начала 20-х годов, одновременно с ним или чуть раньше вступивших в литературу. Они не скрывали молодую творческую радость (вспомним хотя бы Пушкина), они дружили с поэзией так же легко, как дружат с сестрами, да и задумываться над тем, стоит ли печатать свои опыты, коли есть возможность, — было не в их правилах.

Черты Тютчева трудно отыскать в обобщенном образе молодого поэта, «друга-стихотворца» раскованной преддекабрьской эпохи; не случайно в дневниках той поры и в позднейших мемуарах упоминания о нем крайне редки, о его стихотворениях — отсутствуют вовсе.

К тому же Тютчев тогда жил в Москве, литературная и окололитературная жизнь которой была тише, чем в столице. Да и московские авторитеты — тот же Мерзляков — воспринимались в Петербурге как совершенно анахроничные фигуры. («Мерзляков, — писал в 1824 году В. К. Кюхельбекер, — некогда довольно счастливый лирик (...) но отставший по крайней мере на двадцать лет от общего хода ума человеческого и посему враг всех нововведений»)[3]. Но когда по окончании университета, в феврале — мае 1822 года, Тютчев посетил Петербург, связей и знакомств со своим литературным поколением он не искал.

Впрочем, позднее поэт признался, что и ему было присуще «удовольствие тщеславия или самолюбия»[4]; может быть, он имел в виду как раз университетские годы. Но если не считать сообщений о том, что его стихотворения читались в заседании Общества любителей российской словесности, до отъезда поэта за границу только один отзыв о нем появился в печати: в «Отечественных записках» Тютчева назвали «юным, многообещающим поэтом», а стихотворение «Уединение» — «очень хорошим»[5]. Когда Тютчев уже находился в Германии, Н. А. Полевой, издатель «Московского телеграфа», одного из наиболее серьезных журналов эпохи, увидел в нем поэта, подающего «прекрасную надежду»[6]. Примечательно, что эта оценка содержится в обозрении русской литературы за 1824 год: последние же по времени



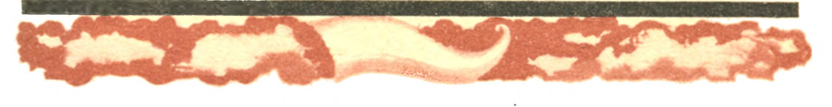
публикации Тютчева относились лишь к 1822 году; значит, Полевой запомнил относительно давние опыты поэта. Это делало честь критику, но не могло обрадовать Тютчева, отнюдь не следившего за московскими журналами.

В июне 1822 года Тютчев покинул Россию, вступив в дипломатическую службу. Окончательно поэт вернулся на родину лишь в 1844 году. За это время он четырежды побывал в России (в 1825, 1830, 1837 и 1843 годах), но в Москве и Петербурге охотно слушали рассказы посланца из Мюнхена — культурного центра Европы*, дивились масштабным политическим замыслам молодого дипломата, наконец, ценили его неизменно острое слово, — а поэт Тютчев при сем как будто не присутствовал. Да и сам он, кажется, не проявлял особого интереса к отечественным литературным делам.

В 1829 году в журнале «Галатея», который издавал Раич, появилось его письмо к Тютчеву; оно называлось «Письмо другу за границу». «„...Что происходит, или лучше сказать, происходит ли что в литературной России?“ — спрашиваешь ты меня в одном из своих писем. На иронический вопрос твой хочу отвечать, на первый раз, коротким письмом < ... > О русской литературе и вообще о ходе просвещения в России ты имеешь, как видно, понятие довольно темное, неопределенное. И немудрено: более шести лет протекло с тех пор, как ты разлучился с отечеством...»[8]. Переписка Тютчева с его бывшим наставником не сохранилась, но начало одного из писем Раича свидетельствует о достаточной отчужденности корреспондентов. А ведь именно Раичу Тютчев во второй половине 20-х годов посылал свои стихотворения, и публиковались они главным образом в «Галатее», выходившей в 1828—1830 годах. Раич, кажется, охотно печатал Тютчева, но по подсчетам исследователя 13 стихотворений, присланных Тютчевым, в «Галатее» не появились — и отнюдь не в связи с прекращением журнала[9].

---

* «Король Людвиг сделал из своей столицы если не новые Афины, то, во всяком случае, резиденцию искусств»[7], — свидетельствовал сослуживец Тютчева И. С. Гагарин.



Сейчас трудно понять мотивы Раича; в 1830-е годы они с Тютчевым вообще не переписываются, и стихотворения, которые в 1831—1834 годах появляются в русских журналах или альманахах, доставлены уже посредниками.

Тютчевские публикации 1826—1834 годов внимания критиков почти не привлекают. (Не забудем и о скверной репутации «Галатеи». «Читая ,,Галатею'' его [Раича] — писал Вяземский, — мне все сдается, что он спился — трезвому невозможно таким образом и так вскоре опошлиться»[10]. Как увидим, Тютчев не расходился с Вяземским в оценке «Галатеи».) Одобрительно, но лаконично отзываются о поэте Н. М. Рожалин (в 1827 году), И. В. Киреевский и П. А. Вяземский (в 1830); в 1831 году «Литературная газета» находит, что «молодой поэт Тютчев (он все еще именуется «молодым», хотя достиг возраста, в котором погибнет Лермонтов. — *А. О.*) не всегда владеет стихом», но «в произведениях его часто бывает глубокость»[11], а в «Московском телеграфе», ранее высоко оценивавшем Тютчева, «изумляются» его «дурному» переводу первой песни арфиста из «Вильгельма Мейстера» Гете[12].

Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот не знаком с небесными властями.
Они нас в бытие манят —
Заводят слабость в преступленья,
И после муками казнят:
Нет на земле проступка без отмщенья!

Через 23 года, накануне выхода в свет первого сборника Тютчева, в «Современнике» опубликованы его старые стихотворения, и среди них этот перевод. Обращаясь к В. П. Гаевскому (для передачи редакторам «Современника»), библиограф С. И. Пономарев писал: «Не известен ли вам другой перевод Тютчева стихотворения из Вильгельма Мейстера (Wer nie sein Brot mit Tränen aß...). Покойный Менцов как-то сказал



в Ж<урнале> М<инистерства> Н<ародного> Пр<освещения>, что имя Тютчева сделалось известным в русской поэзии по этому переводу. Неужели это именно тот перевод, который помещен теперь в Современнике (стр. 12, № 15), перепечатанный из Альманаха Сиротка 1831 года (стр. 198)? Но он, как мне кажется, ни складу, ни ладу, а путаница размеров и однообразие стоп. Стоило ли печатать?»[13].

Заметим, что и в «Сиротке» и в «Современнике» печатался искаженный текст, но это вряд ли меняет дело. Даже в 50-е годы читателю трудно было свыкнуться с поэтическим реформаторством Тютчева («путаница размеров и однообразие стоп»), а в начале 30-х годов оно и вовсе обескураживало. Рецензии же (или статьи) критика и поэта Ф. Н. Менцова — по описанию Пономарева, очень важной для понимания литературной судьбы Тютчева, — до сих пор не обнаружено. В «Журнале Министерства народного просвещения» за 1836 год была опубликована обзорная статья Я. М. Неверова, в которой действительно был отмечен «прекрасный перевод г. Тютчева» [14], но имелась в виду «Песня радости» Шиллера. И кроме беглого примечания («кажется, впрочем, это не новое явление»), более о Тютчеве ничего не было сказано. (На соседней странице Неверов очень благожелательно оценивает поэзию Менцова, — может быть, именно об этой статье, трансформировавшейся в его памяти, писал Пономарев?).

Да и все, что нам известно о восприятии Тютчева в эти годы, не согласуется с утверждением, якобы принадлежащим Менцову. Литературное имя Тютчева звучит совершенно неотчетливо, да и помнят о нем в России немногие.

Около 1830 года он пишет «Silentium!». Уже отмечалось, что это стихотворение, утверждающее «невыразимость» сокровенных сторон бытия, непроницаемость их для слова, — полемика с Пушкиным, создателем поэтического языка своей эпохи, и вызов, брошенный литературе в целом [15]. Известен пример еще более заостренной полемики Тютчева с Пушкиным на ту же тему. А. Д. Скалдин в забытой статье 1919 года [16] сопоставил пушкинского «Пророка»



(опубликован в 1828 году) с заключительными строками «Безумия» Тютчева (написано около 1830 года):

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

Общей установке Тютчева вполне соответствовал избранный им жанр фрагмента, кратчайшего стихового отрывка. «Словно на огромные державинские формы наложено уменьшительное стекло, ода стала микроскопической, сосредоточив свою силу на маленьком пространстве...»[17] — так охарактеризовал тютчевский фрагмент Ю. Н. Тынянов, который в другом месте показал, что это «предельное разложение формы» обозначало для современников — и Пушкина в том числе — выход поэта из литературы 20—30-х годов с ее жанровыми нормами[18]. Содержательность же стиха Тютчева в это время (как и много позже) не воспринимается большинством читателей именно в силу их литературного воспитания.

Тютчев неслышно восстает против литературы — а она, в свою очередь, легко выталкивает его из себя.

В один и тот же год Тютчев пишет «Silentium!», а Пушкин рецензирует альманах «Денница». Он ведет речь о помещенной в альманахе статье И. Киреевского, который «отличает» Тютчева, А. С. Хомякова и С. П. Шевырева «между поэтами немецкой школы». Это суждение Пушкин комментирует: «Из молодых поэтов немецкой школы г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим»[19]. Единственное печатное высказывание Пушкина о Тютчеве.

Такими репликами оба поэта «обменялись» около 1830 года (впрочем, «Silentium!» был опубликован в «Молве» тремя годами позже, а «Безумие» появилось в «Деннице» спустя еще год). Их пути резко расходились. И не только тютчевский жанр был сомнителен для Пушкина; в 30-е годы он исповедует принцип «нагого просторечия»,



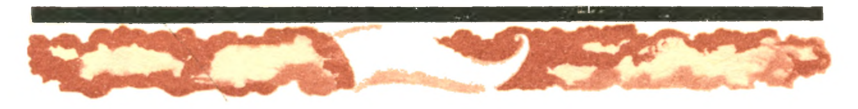
который был глубоко чужд поэтике Тютчева. В черновиках статьи Тынянова «Пушкин и Тютчев» сохранилось замечание: «...от «нагого просторечия» не было путей к изысканному поэтическому языку Тютчева, структура которого была основана на использовании оттенков, а не красок... на тонких ухищрениях малой формы. Требующим простоты и силы — поэтический язык Тютчева мог показаться изнеженным. Тонкая реформа Тютчева не удовлетворяла требованиям революции, шедшим от Пушкина»[20].

Но одно неотступное предчувствие сближало Пушкина и Тютчева. Еще в 1821 году Пушкин писал Вяземскому: «...что ни говори, век наш не век поэтов — жалеть, кажется, нечего — а все-таки жаль. Круг поэтов делается час от часу теснее — скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо. — И то хорошо»[21]. До конца жизни Пушкина не покидало видение конца поэзии, он говорит об этом всерьез и в шутку, в стихах, статьях, письмах; в 30-е годы отходит в прозу.

Еще раз вспомним о дате написания «Silentium!» в связи с более поздним наблюдением Белинского о том, что как раз с 1829 года в русской литературе решительно возобладала проза. И само это стихотворение — тоже очевидное и выразительное свидетельство внутреннего кризиса поэзии, ощущаемого в эти годы ее крупнейшими творцами: программное стихотворение Баратынского, появившееся в 1835 году, так и называлось: «Последний поэт». Но именно в литературной судьбе Тютчева раньше всего отразился этот кризис.

Литературная уединенность Тютчева объяснялась и болезненным характером: о его неуверенности в себе, частой «нравственной подавленности» (выражение первой жены Тютчева Элеоноры Федоровны Петерсон), приступах тоски хорошо знали близкие поэта. Не забудем и о легендарной непрактичности Тютчева, о его несобранности и рассеянности, из-за которой он нечаянно сжег многие, и, как говорил, лучшие свои стихотворения мюнхенского периода — и, конечно, увидел в этом «некое предопределение»[22].

В 1832, 1833, 1834, 1835 годах ни слова о поэте в печати не находим.



Но вот обычная семейная эпистолярия: письмо шестнадцатилетнего Василия Елагина к отцу; оно датировано 3 ноября 1834 года. «...Думал ли, например, я за 5 лет, в деятельное и любопытное время, когда в России расцветало столько надежд, что мне придется быть зрителем времен упадка, ужасного, общего.

Где, например, теперь прежние прекрасные надежды России? Что делает Киреевский, Пушкин (потому что он также надежда), Баратынский, Одоевский и другие? Они ничего не делают только потому, что поддались влечению своего времени к лени. Дай бог, чтобы даже несчастие или по крайней мере сильное потрясение, буря общая, всемирная или хоть европейская пробудила нас от этого тяжкого сна к жизни, к действительности, которой нынче ж и не увидим; иначе же выйдем из мира, не знавши настоящей жизни, которую знали все счастливцы, воины 12-го года, современники Наполеона.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.

А эдакое уничтожающее все силы, все способности время хуже самых страшных бурь и переворотов»[23].

Строки из тютчевского «Цицерона», не замеченного современной критикой, на редкость естественно вошли в контекст по-юношески максималистских размышлений о России. (Интересно, что и одиннадцатилетний Василий Елагин ощущал себя сознательной личностью; кстати говоря, «деятельное и любопытное время», о котором он вспоминает, — это время написания «Silentium!»). М. И. Гиллельсон, публикатор писем В. Елагина, с полным основанием предположил, что на его суждения повлияла общая культурная атмосфера в доме Елагиных-Киреевских; из этой семьи вышли выдающиеся представители русской мысли — И. В. и П. В. Киреевские (сводные братья В. Елагина). Оба брата Киреевских познакомились и сблизились с Тютчевым в Мюнхене, и именно они пересылали на родину



стихотворения Тютчева, публиковавшиеся в первой половине 30-х годов. 5 января 1830 года П. В. Киреевский просил сообщить М. А. Максимовичу, что для его альманаха «Денница» Тютчев «обещает дать пиес 7»[24]. В «Деннице» на 1831 год как раз и появился «Цицерон», который так отозвался мыслям В. Елагина, но остался вне поля зрения в статьях И. Киреевского и литераторов его круга.

Размышляя о причинах «незаинтересованного» отношения к поэзии Тютчева во многом близких ему писателей-любомудров (И. Киреевского, Шевырева и других), Л. Я. Гинзбург отмечает их «романтическую потребность <...> в единстве авторского образа»[25], в то же время «личность — ни биографическая, ни условно лирическая — так никогда не стала средоточием поэзии Тютчева. И это многое объясняет в его литературной судьбе»[26]. При всем том некоторые стихотворения Тютчева высоко оценивались русскими романтиками, но для них это было скорее частным фактом собственной биографии, не «санкционированным» той эстетикой, приверженцами которой они выступали на страницах журналов.

Восприятие Тютчева необычайно индивидуализируется, и бытие его поэзии выносится за привычные литературные рамки — даже немногими сочувствующими. Наиболее любопытен случай с И. Киреевским: в статье, о которой уже говорилось в связи с пушкинской оценкой Тютчева, допущена странная оговорка. Автор посетовал на то, что в 1829 году Тютчев опубликовал лишь одно стихотворение—на самом деле напечатано было восемь. В. В. Гиппиус по этому поводу заметил, что Киреевский, очевидно, знал стихи Тютчева «независимо от журнальных публикаций»[27]. Кажется, в понимании критика стихотворение Тютчева и не требует «материального», печатного закрепления; тут уж не приходится удивляться тому, что даже доброжелательный разговор о поэте уходит с поверхности литературы, перемещаясь в устные беседы, письма, дневники.

Тютчев все прочнее обосновывается в литературной подпочве; в 1835 году — впервые за последние десять лет — он вообще ничего не публикует.



Но как раз в этот год в Россию возвращается его сослуживец И. С. Гагарин, который за два года общения с поэтом успел убедиться в его великом даровании. На родине, как быстро понял Гагарин, стихи его старшего друга не пользовались известностью; и тогда будущий товарищ Лермонтова по известному «кружку шестнадцати» решительно взялся за дело.

«Вы просили меня прислать вам мое бумагомаранье, — читаем в письме Тютчева Гагарину от 3 мая 1836 года. — Я поймал вас на слове. Пользуюсь случаем, чтобы от него избавиться. Делайте с ним, что хотите. Я питаю отвращение к старой исписанной бумаге, особенно исписанной мной. От нее до тошноты пахнет затхлостью» [28]. Таково тютчевское «напутствие» своим стихотворениям, направленным в Россию; однако пренебрежительность, с которой он здесь говорит о них, пожалуй, слишком демонстративна. Через два месяца, рассказывая Гагарину о случайной — или «предопределенной» — гибели значительной части своего поэтического наследия, он заметил, что утешился «мыслью о пожаре Александрийской библиотеки» [29]; такое, хотя и ироническое сравнение, быть может, вернее отражает истинный взгляд поэта на свое творчество.

В мае 1836 года баронесса А. М. Крюденер привезла в Петербург рукописи Тютчева. 12 июня Гагарин извещал Тютчева о предпринятых им шагах: «Наконец, намедни я передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною. Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание — Жуковского в особенности — все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала, то есть появятся через три или четыре месяца, а затем будет приложена забота к выпуску их в свет отдельным небольшим томом. Через день ознакомился с



ними и Пушкин. Я его видел после того, и говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувствованную оценку.

<... > Поручите мне почетную миссию быть вашим издателем, пришлите мне еще что-нибудь и постарайтесь придумать подходящее заглавие»[30].

Из этого письма мы достоверно узнаем о том, что стихотворения Тютчева были горячо одобрены Вяземским и Жуковским, а также о том, что в пушкинском кругу возникла идея издать эти стихотворения отдельной книжкой. Что касается собственного отношения Пушкина к присланным стихотворениям, то заключительные строки первого абзаца можно толковать по-разному. В контексте всего письма, полагал Тынянов, эта французская фраза «лишь условная формула вежливости, бледная после впечатления, произведенного стихами на Жуковского и Вяземского...»[31]. Многочисленные же оппоненты Тынянова (Г. И. Чулков, Н. В. Королева, М. Н. Дарвин и другие) не склонны придавать большое значение стилистическим оттенкам письма Гагарина (тем более, что тыняновская концепция о противоположных поэтических установках Пушкина и Тютчева принята отнюдь не единодушно): решающий довод для них — то, что при жизни Пушкина двадцать четыре стихотворения Тютчева — «Стихотворения, присланные из Германии» — были опубликованы в «Современнике» (1836, т. 3 и 4).

«...Что такое третий номер „Современника“ за 1836 год, — пишет автор новейшей работы В. В. Кожинов, — как не прямое „благословение“ Тютчева?»[32]. Именно факт «благословения» еще в 20-е годы оспаривал Тынянов, который заключил, что, начиная со второго тома «Современника», уже нельзя говорить о серьезном отборе стихотворений в этом журнале.

Вопрос об отношении Пушкина к Тютчеву в 1836 году можно рассмотреть и с другой стороны. «Современник» — и в первую очередь, конечно, сам Пушкин — напечатал большую подборку Тютчева. Но исследование А. А. Николаева показывает, что далеко не все его произведения, находившиеся в руках у Пушкина, появились в «Совре-



меннике»[33]. У Пушкина, как теперь очевидно, был широкий выбор; и о нем мы можем судить.

Вот, например, что Пушкин опубликовал:

Обеих вас я видел вместе —
И всю тебя узнал я в ней...
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж прелесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!

И все, как в зеркале волшебном
Все обозначилося вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

А вот что Пушкин не напечатал:

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Все во мне, и я во всем...
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся вглубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Для нас — наверное, и для самого поэта — приведенные стихотворения несопоставимы. Второе настолько значительнее,



настолько более «тютчевское», что выбор Пушкина объясним, по крайней мере, равнодушием к новой поэтике и новому мировосприятию (не означавшим, разумеется, какого-либо недоброжелательства к автору). И еще несколько шедевров Тютчева были отвергнуты Пушкиным; впрочем, «Silentium!» он печатает (вероятно, не подозревая, что оно уже публиковалось).

Но мало кто был тогда осведомлен обо всей подоплеке тютчевской публикации в «Современнике»; однако этот довольно случайный эпизод (и для Пушкина, и для Тютчева) послужил источником целого литературного предания о прощальном благословении, которое дал великий поэт своему младшему собрату. В это предание, неотделимое от будущей литературной судьбы Тютчева, легко уверовали и близкие ему люди — о том еще будет сказано, а пока проследим ход дальнейших событий.

В ответ на сообщение Гагарина о том, как приняли его поэзию в пушкинском окружении, Тютчев писал 7 июля 1836 года: «Ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие <...> удовольствие, которое испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в сочувствии ближнего.<...> И тем не менее, любезный друг, я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой». Впрочем, прибавлял он о своих «виршах», «делайте с ними, что хотите, без всякого ограничения или оговорок, ибо они — ваша собственность».

Но, как всегда в разговоре о своих стихах, Тютчев проявляет известную двойственность. После слов о «бумагомаранье», «виршах», недостойных объединения в отдельную книжку, он вдруг делает вполне конкретное указание: «Однако, если вы настаиваете на печатании, обратитесь к Раичу, проживающему в Москве; пусть он передаст вам все, что я когда-то отсылал ему и что частью было помещено им в довольно пустом журнале, который он выпускал под названием „Бабочка“»*[34].

* Имеется в виду, конечно, «Галатея». Ср. выше отзыв Вяземского.



Гагарин обратился к Раичу через С. П. Шевырева. И в ответном письме Шевырева, написанном 2 ноября 1836 года, содержится последнее упоминание о проекте книги Тютчева в 30-е годы. «...Вот собрание стихотворений Тютчева в том виде, как оно было мне доставлено от Раича. При издании призовите на помощь какого-нибудь опытного стихотворца, который взялся бы сверить с подлинником, чтобы не испортить текста, писанного в иных местах связной рукой. Это будет прекрасное собрание: Тютчев имеет особенный характер в своих разбросанных отрывках <...> Хорошо, если бы Пушкин в корректуре взглянул на стихотворения Тютчева»[35]. Но не было той корректуры, на которую бы мог взглянуть Пушкин. Что помешало Гагарину издать сборник Тютчева — неизвестно. В. А. Бильбасов, опубликовавший в конце прошлого века некоторые материалы из архива Гагарина, не исключал, что отказаться от своего плана его могла заставить история с публикацией в 1836 году «Философического письма» П. Я. Чаадаева[36]: репрессиям подверглись, помимо автора, издатель «Телескопа» Н. И. Надеждин и цензор журнала А. В. Болдырев. (Гагарин был приятелем Чаадаева и, как предполагает К. В. Пигарев, именно он познакомил Тютчева с содержанием «Философических писем»). Но это — маловероятная причина. Скорее уж следует считаться с начавшимся в конце 30-х годов общим кризисом издательского дела и книготорговли[37]. Да и сам поэт и позднее совершенно равнодушен к инициативе Гагарина.

В 1837 году — уже после смерти Пушкина — Тютчев приезжает в Петербург: там он пишет стихотворение «29 января 1837». Поэт подарил автограф этого стихотворения Гагарину, и долгое время оно оставалось неизвестным. Его «воскресение» настало почти через 40 лет. 11 июля 1876 года И. Аксаков писал Ф. В. Чижову: «Несомненно, что к молодости личной, индивидуальной главных действующих лиц присоединяется еще черта молодости самого общества, — молодость и новизна мысли. <...> Тютчев, по моему мнению, гениально сказал про Пушкина, по случаю его смерти, в стихах, отысканных уже после моей биографии (вышедшей в 1874 году. — *А. О.*):



Тебя как первую любовь
России сердце не забудет.

Это лучшее и вернейшее определение Пушкина, т. е. места, занимаемого им в истории русского общественного развития. Это значение Пушкина так и припечатано к нему и никогда не сотрется» [38].

И. Аксаков, человек другого поколения, верно схватил особенность ушедшей вместе с Пушкиным поэтической эпохи; после 1837 года многие писатели 20—30-х годов ощущают усталость, постарение — их творческая активность заметно идет на убыль, а ностальгические воспоминания о золотом пушкинском времени подчеркивают, насколько глубоким был разрыв литературных времен. В 1840 году Вяземский пишет стихотворение «Старое поколение»:

Печально век свой доживая,
Мы запоздавшей смены ждем,
С днем каждым сами умирая,
Пока не вовсе мы умрем.

Показательно, что и к «Современнику», детищу Пушкина, его ближайшее окружение как-то охладевает; критик и поэт П. А. Плетнев, которому достались заботы по изданию журнала, с горечью писал Вяземскому 28 декабря 1838 года: «Ни от кого я не вижу малейшего движения. Все закрылось и заснуло. Даже А. И. Тургенев не прислал ни строчки в „Современник“. Нечего делать: кое-как один тяну лямку» [39]. В этом же письме Плетнев сообщал, что хотел бы выслать Тютчеву номера журнала (очевидно, те, в которых были публикации поэта); в «Современнике» его рады печатать.

Плетнев и Вяземский войдут в тесный литературный круг Тютчева, который в 1844 году вернулся в Россию. (С Гагариным после 1837 года они никогда не виделись: в 1842 году тот принял католичество, а в 1843 навсегда покинул Россию.) Эти друзья Пушкина, как и многие писатели 20—30-х годов, хоть и предвидели «конец поэзии», но эпоха 40-х годов все же ошеломила их падением культуры стиха и одновременно интереса к нему. Друг за другом — и внезапно — сошли



в могилу Лермонтов, Баратынский, Кольцов, новое поэтическое поколение не созрело; Белинский же, ведущий критик 40-х годов, требовал от литературы «дельности» и в этом смысле возлагал надежды только на прозу. «Стих теперь прощается порядочному человеку только с одним условием, — свидетельствовал анонимный критик «Библиотеки для чтения» в 1844 году, — когда в стихе столько же толку, как в чистой прозе. Чем менее стих напоминает о себе, тем благосклоннее к нему наш современный слушатель»[40].

Еще в 1827 году Вяземский заметил: «Проза должна более или менее говорить присутствующим; поэзия может говорить и отсутствующим: ей не нужно непосредственной отповеди наличных слушателей. На поэзию есть эхо: где-нибудь и как-нибудь оно откликнется на ее голос»[41]. «Наличных слушателей» у Тютчева в 40-е годы можно сосчитать по пальцам одной руки: в это десятилетие он практически замолкает; его публикации — единичны. Но, привыкший к своей литературной «подпочвенности», он, в отличие от своих друзей, не сокрушается о переменах. Поэт совершенно не ищет «эхо»; непонятно, ждет ли он его вообще.

В редких же отзывах тем не менее заметны новые интонации. В 1838 году, говоря о стихотворении Тютчева, опубликованном Плетневым в «Современнике», анонимный обозреватель «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» восклицал: «„Арфа скальда“ <...> дышит той меланхолиею, той негою и таинственностию, которые так очаровательны в его вдохновенных стихах, приводивших в умиление Пушкина»[42]. Поэзия Тютчева едва ли не впервые удостоена в печати столь восторженных слов, но любопытнее другое. Впервые «слово найдено» — и отныне версия об «умилении» Пушкина тютчевской поэзией, обнародованная, видимо А. А. Краевским (редактором «Литературных прибавлений...», сотрудничавшим в пушкинском «Современнике»), начинает распространяться в литературных и читательских кругах.

Краевский с 1839 года приступил к изданию обновленных «Отечественных записок», но участия в этом столичном журнале



Тютчев не принял. На первых порах Краевскому удалось заинтересовать своим изданием многих московских литераторов. Один из его активных в ту пору «агентов», Н. Ф. Павлов, посылая материалы в «Отечественные записки», задумал и собственное издательское дело: в письме Шевыреву от 24 декабря 1839 года он просит его прислать из Германии стихи Тютчева; перечислив же своих предполагаемых сотрудников, Павлов заключает: «Таким образом я надеюсь устроить альманах; впрочем, это будет не альманах, а так книга, которую назову бог знает еще как» [43]. Проект Павлова не осуществился; самой неопределенности этого замысла как будто вполне соответствует литературная неопределенность Тютчева.

В течение 40-х годов критика всего трижды вспоминает умолкнувшего поэта. На страницах «Отечественных записок» 1840 года Белинский «спускает» его имя в сноску к статье о Денисе Давыдове вместе с именами Раича, А. Г. Ротчева, А. Д. Вердеревского, Н. А. Маркевича — также «достойными внимания» [44]. В 1846 году молодой сотрудник этого журнала В. Н. Майков (вскоре трагически погибший) опубликовал рецензию на сборник А. Н. Плещеева. Переводы Плещеева из Гейне, признался Майков, «напомнили» ему «одного русского поэта, которого никто не помнит, хотя в мое время, лет десять назад, его стихи и обратили на себя внимание людей со вкусом и поэтическим тактом. Считаем долгом напомнить об них, потому что видеть забвение истинно-поэтических произведений еще прискорбнее, чем видеть явление бездарных виршей, вооруженных самолюбивыми претензиями. Стихотворения, о которых говорим мы, напечатаны в „Современнике“ 1836 и 1837 гг. под названием „Стихотворения, присланные из Германии“ и принадлежат автору, подписавшемуся буквами „Ф. Т.“. Там они и умерли... Странные дела делаются у нас в литературе!» [45].

Этот отзыв лишний раз убеждает в незаурядной литературной проницательности В. Майкова: по общему мнению, он должен был стать преемником Белинского. Но хотя критик и намекает на возможный круг почитателей Тютчева в конце 30-х — начале 40-х



годов — это, по всей вероятности, кружок самого В. Майкова (его младший брат, поэт А. Н. Майков, М. П. Заблоцкий, В. А. Солоницын, И.А. Гончаров и другие), все же эти строки — эпитафия поэту: „Там они и умерли...“.

Через год вышла последняя книга Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», включавшая, в частности, ключевую для писателя статью «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность». Говоря здесь об обширном влиянии Пушкина на отечественную поэзию, Гоголь обронил фразу: «Стоит назвать обоих Туманских [В. И. и Ф. А.], А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина»[46]. Гоголь, разумеется, не справлялся о ранних тютчевских публикациях: для него, как и для многих читателей, имя Тютчева связывалось с «Современником» 1836 года, с литературной средой, окружающей Пушкина и рассеявшейся после смерти великого поэта. Схожим образом упомянут Тютчев и в неопубликованной тогда статье К. С. Аксакова, где, характеризуя «веселую эпоху» 30-х годов, автор перечисляет «более или менее талантливых» поэтов — «Веневитинова, Дельвига, Тютчева, Подолинского и др.»[47].

Однако в 40-е годы, как и ранее, отчетливо различимы два плана восприятия Тютчева: условно говоря, «литературный» и «внелитературный», предполагающий сугубо частное, едва ли не интимное чтение. Такое чтение почти не оставляет вещественных следов — потомкам на это мало надежд. Тем интереснее свидетельства из этого ряда.

3 мая 1847 года Плетнев пишет Я. К. Гроту: «В 1 мая я в 5 часов вечера отправился один на Елагин [остров]. Дома было мне тяжело, томительно и ужасно грустно. Но вид деревьев (даже голых), лугов (хотя и без травы) и вообще чувство около себя свободного горизонта так подействовало благотворно на мою душу, что я ожил совершенно. Тут-то я вспомнил божественные стихи Тютчева о природе и весне,



напечатанные в «Современнике» 1836 года, т. е. пушкинском. Как они истинны и прелестны»[48].

Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины
И сердце как ни полно ран;
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены, —
Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Плетнев ошибся в дате. Стихотворение «Весна», первая строфа которого только что процитирована, было опубликовано в «Современнике» 1839 года, то есть уже не «пушкинском», а самого Плетнева — но ему необходима ссылка на авторитет своего великого предшественника, пусть даже ущемляющая собственные издательские заслуги. И все же семь лет стихотворение сберегалось в памяти читателя, которому естественнее вспоминать строки Тютчева наедине или беседовать о них с другом, нежели выступать с оценкой в печати. Пример, пожалуй, самый показательный: ведь в руках Плетнева долгое время был журнал. (Как раз в 1846 году он уступил «Современник» довольно подозрительной в его глазах компании литераторов — Н. А. Некрасову, И. И. Панаеву и другим.)

Однако далеко не все знакомые Тютчева догадывались, с кем встречались в аристократических салонах: здесь он представал «едва ли не самым светским человеком в России <...> его наружность очень не соответствовала его вкусам; он был дурен собою, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева...»[49].

Но ни тогда, ни позже не узнал Тютчев о том, что именно в 40-е годы, самые глухие в литературной судьбе поэта, — у него неожиданно объявился подражатель. Имя и судьба этого стихотворца мало



известны и теперь: Евгений Милькеев, самоучка из Тобольска, был сочувственно принят Жуковским, вместе с наследником объезжавшим Россию; с 1839 года он публикуется в «Современнике», и тютчевские стихи, напечатанные в этом журнале Пушкиным и потом Плетневым, очень заметно отозвались в его несовершенных, но небесталанных опытах. Впервые на это обратил внимание в 1922 году М. К. Азадовский [50].

Жил и писал Милькеев недолго — в середине 40-х годов (точную дату не знаем) — он покончил с собой, успев выпустить лишь один маленький сборник.

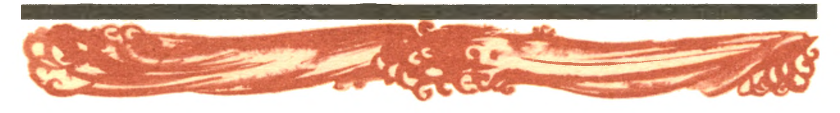
И мрак угрюмой,
Распростираясь над землей,
Обвил ее, как тяжкой думой,
Широкотенной пеленой.

Курсивом набранный эпитет — свидетельство сознательного ученичества у Тютчева; но и учитель, и ученик пришлись не ко двору своей эпохе и были закрыты от читателя «широкотенной пеленой».

В 1849 году со стихотворным посланием к Тютчеву обратился Ф. Н. Глинка, поэт, давно переживший свои лучшие годы и недоверчиво взиравший на современные нравы:

Как странно видеть *зрящему*
Дела людей:
Дались мы в рабство *настоящему*
Душою всей!
. . . .
Замкнули речи все столетия
В своих шкафах;
А нам остались междуметия:
«Увы!» да «Ах!»

Но принял не напрасно дикое
Лицо пророк:



Он видит — близится *великое,*
И близок срок!

В том же 1849 году Н.А. Некрасов, редактор «Современника», пишет статью «Русские второстепенные поэты», которая, как и все, что он делал, нацелена именно в *настоящее*. И оказалось, что «срок» Тютчева уже настал — забытый стихотворец был вознесен на вершину русского поэтического Олимпа.

Статья Некрасова появилась в 1850 году; как раз в это время, по наблюдению Б. М. Козырева, «языческий период» в поэзии Тютчева сменился периодом, натурфилософия которого более сложна и разносоставна [51]. Сдвиг в поэтическом мышлении и сдвиг в литературной судьбе совпали хронологически; такое очень редко случается.

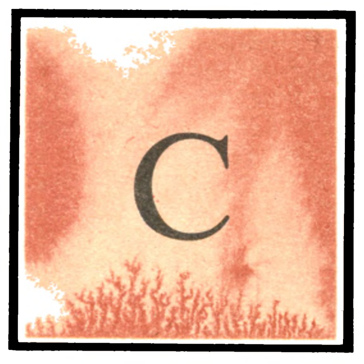
Тридцать три года прошло с тех пор, как профессор Мерзляков писал о «пиесах» Тютчева, которые «лежат <...> до будущего своего воскресения». По меркам XIX века — целая литературная жизнь.







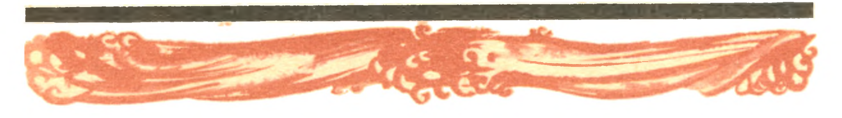
«И КАК, ПРОШУ, ДАЛОСЬ НАМ ЭТО...»



Статья Некрасова (она появилась в первом номере «Современника» за 1850 год) начиналась решительно: «Стихов нет. Немногие об этом жалеют, многие этому радуются, большая часть ничего об этом не думает. Но отчего нет стихов?»[1]

Некрасов называет несколько причин. Во-первых, после Пушкина и Лермонтова «гладкость и правильность стиха не составляют уже в наше время ни малейшего достоинства», и «весьма понятно, что проза, более доступная по форме, представляет более простора его [писателя] уму, взгляду на вещи и наблюдательности...» (с. 191). Во-вторых, поэтический талант вообще редок: в частности, русских поэтов меньше, чем прозаиков. В-третьих же, пресса дискредитировала поэзию настолько, что новый талант и не осмелится «выступить со своими стихами в такое невыгодное для поэтов время» (с. 193).

Между тем «потребность стихов в читателях существует несомненно» (с. 193), — утверждал Некрасов. Да и поэтических талантов в России не так уж мало: Пушкин, Жуковский, Крылов, Лермонтов, Кольцов, «некоторые причисляли к ним г. Бенедиктова...» (с. 203). Имя последнего, впрочем, нужно Некрасову только для того, чтобы заметить о шуме, который оно произвело в критике в то



время, как «*вовсе не был замечен* другой поэт, явившийся почти в одно время с ним и обнаруживший в десять раз более истинного таланта, — поэт, к которому мы и переходим теперь...» (с. 204; курсив автора). Некрасов вспоминает об издании пушкинского «Современника», в котором «с третьего же тома (...) начали появляться стихотворения, в которых было столько оригинальности, мысли и прелести изложения (...), что казалось, только сам же издатель журнала мог быть автором их. Но под ними весьма четко выставлены были буквы «Ф. Т.»...» (с. 204).

Неизвестный Некрасову поэт «написал очень немного; но все написанное им носит на себе печать истинного и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства. Мы уверены, что если б г. Ф. Т. писал более, талант его доставил бы ему одно из почетнейших мест в русской поэзии» (с. 205). Автор считает, что лучшим доказательством его мнения послужит слово Тютчева, — обширные цитаты из его стихотворений, по подсчетам современного исследователя, составляют почти 40% от объема статьи[2]. Некрасов приводит «Утро в горах», «Осенний вечер», «Весну», «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!» и ряд других.

Цитируя «Осенний вечер», Некрасов замечает: «Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце; вот почему мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым (...) Нечего и говорить о художественном достоинстве приведенного стихотворения: каждый стих его — перл, достойный любого из наших великих поэтов» (с. 207). И, как бы исправляя название своей статьи, он отнес так скудно печатавшегося поэта «к русским первостепенным поэтическим талантам...»

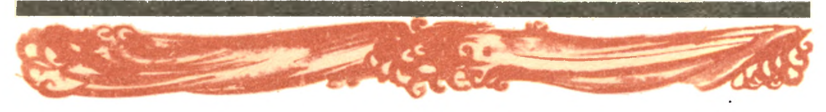
В нашей науке достаточно хорошо выяснена одна из главных причин «воскрешения» Тютчева, предпринятого в статье. Некрасов, осуществлявший сдвиг русской поэтической системы, не мог пройти мимо уединенно покоившихся в прошлом опытов Тютчева, противо-



поставленных литературному канону 30-х годов. «Гармония стиха и языка была доведена Пушкиным до равновесия — надо было дать ощущение несовпадения, дисгармонии»[3]; и в решении этой задачи Тютчев был прямым предшественником Некрасова. (Не забудем, что Некрасов в этот период сам переживал творческий кризис: открытие Тютчева было для него и важным личным событием[4].)

Но Некрасов говорил о Тютчеве не только от своего имени. В ходе развития русской литературы XIX века выяснилось, что попеременное чередование «поэтических» и «прозаических» периодов сопровождалось глубоким, «катастрофическим» упадком того литературного рода, который был не в чести у данной эпохи [5]. Из кризиса каждый раз требовался решительный выход; и только полный пересмотр установившихся литературных ценностей и утверждение взамен их совершенно новых, неожиданных, — вполне отвечали такому требованию. Инициатива Некрасова объясняется поэтому еще и потребностями нарождавшейся «поэтической эпохи». Один из самых неизвестных поэтов 40-х годов выдвигался на первый план для того, чтобы как можно резче оттолкнуться от тех представлений, которые были определяющими в те годы. А то, что неприятие Тютчева «прозаическая» эпоха 40-х годов унаследовала от предшествующей, в 50-е годы в расчет не бралось (если вообще кто-нибудь в этом специально разбирался): интерес был не к истории литературы, а к ее современным проблемам. Оттого Некрасов уверенно апеллирует к авторитету Пушкина — законодателя первой «поэтической эпохи», представшего здесь в роли первого покровителя Тютчева.

Это не означает, однако, что Некрасов и Плетнев хоть отчасти сходились во взглядах на Тютчева. Вольно или невольно Плетнев удерживал его поэзию в тесном кружке последних избранных ценителей, и «благословение» Пушкина в глазах критика замыкало Тютчева в единственной и невозвратимой поэтической эпохе — и тем самым противополагало его всем остальным. (И камерное восприятие Тютчева непосредственно с этим связано.) Некрасов же, подхватив литературную легенду, наоборот, стремился развернуть тютчевскую



поэзию в настоящее: «благословение» великого поэта он наполнял актуальным смыслом.

Некрасов всерьез опасался того, что антипоэтическая эпоха 40-х годов «рискует сократить восприимчивость души. <...> Клапан зарастает наглухо и тогда не отворите его — явись хоть второй Пушкин!»[6]

С помощью Тютчева этот «клапан» Некрасов стал «отворять». Но его статья была лишь начальным шагом. Автор отдавал себе в этом отчет, твердо выразив «желание, чтобы стихотворения г. Ф. Т. были изданы отдельно: мы можем ручаться, что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения...» (с. 221).

Один из первых откликов на статью Некрасова мы находим в письме славянофила А. С. Хомякова А. Н. Попову от января 1850 г.: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него... Не стыдно ли молчать, когда бог дал такой голос?»[7]

Трудно сказать, действительно ли поэт «устыдился» своего молчания, но в 1850—1853 годы он опубликовал 28 стихотворений — ровно в семь раз больше, чем за предшествующее десятилетие. Он печатался в «Москвитянине» (у Погодина, старого университетского товарища), в «Киевлянине» и в сборниках «Раут», которые издавал муж его сестры Н. В. Сушков. Тютчев, впрочем, не имел касательства к публикации в «Рауте» 1851 года; издатель сопроводил стихи элегическим примечанием: «„Поминки" случайно попались нам — и мы решили поместить их в нашем „Сборнике" без ведома автора, да уж, видно, такова участь его: к<нязь> И<ван> С<ергеевич> Г<агарин> собрал стихотворения Ф. Т<ютчева>, и Пушкин напечатал их в „Современнике", а Т<ютчев>, живя тогда в Баварии, и не подозревал, что Петербург читает его произведения»[8]. Пусть Сушков во многом не точен, важно иное: образ автора, беззаботного к судьбе своих творений, был уже канонизирован окружающими.



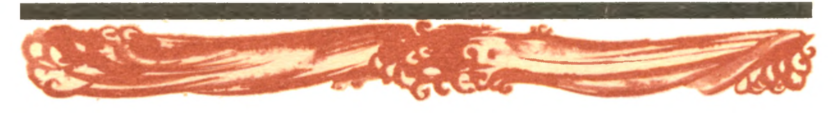
В 1851 году Сушков предложил Тютчеву издать сборник его стихотворений. 27 октября того же года поэт отвечал ему: «Николай Васильевич, я сердечно умилился при виде вашего писания: в вас поистине избыток христианской любви — неутомимая, неистощимая, всеобъемлющая попечительность... от кедра до исопа, — от братниных поручений до моих стихов-подкидышей — благоговею — и молчу...» [9] (В нарастании эпитетов, определявших заботу Сушкова, ощутима, однако, некая ирония — или самоирония?) Для «Раута» на 1852 год Тютчев послал пять стихотворений; публикуя их, Сушков сообщил: «В нынешнем году будет напечатано полное собрание стихотворений Тютчева» [10].

Сушков действительно начал работу: сохранился рукописный сборник («Сушковская тетрадь»), включающий копии и уже напечатанных, и еще не изданных к тому времени стихотворений поэта. На страницах «Сушковской тетради» встречаются собственноручные поправки поэта, но в целом, как отмечает К. В. Пигарев, «Тютчев просмотрел ее крайне поверхностно» [11]. Издание Сушкова свет не увидело — и опять-таки мы не знаем, почему. (Может быть, и по вине самого Сушкова, которого Плетнев характеризовал как «замечательно легкомысленного человека» [12].)

31 июля 1851 года Тютчев писал жене из Петербурга: «Жизнь, которую я здесь веду, очень утомительна своей беспорядочностью. Ее единственная цель — это избежать во что бы то ни стало в течение восемнадцати часов из двадцати четырех всякой серьезной встречи с самим собой» [13].

Образ жизни Тютчева вошел в поговорку у друзей. Плетнев — Жуковскому (3 января 1850): «Ф. И. Тютчев совсем невидим. Я только в один вечер поймал его у него дома. Он так не властен над собой, что, верно, и не может свидеться, когда даже располагается» [14]. Плетнев — Жуковскому (4 марта 1850): Тютчев «по рассеянной жизни совсем невидим...» [15].

Жизнь Тютчева в эти годы определялась отнюдь не заботами о своих публикациях: роман с Е. А. Денисьевой (20 мая 1851 года



родилась их дочь Елена), служба и, конечно же, светские обязанности. Выразительно характеризует своего друга Плетнев в неизданном письме С. А. Соболевскому (от 16 октября 1853 года): «Федор Корф умер в Монпелье. Федор Тютчев погибает в салонах» [16]. 31 октября 1853 года в письме к Вяземскому Плетнев сообщал о завершении работы над изданием Пушкина, которое готовил П. В. Анненков, о том, что в найденных главах «Мертвых душ» есть «прекрасные места»; в заключение письма говорилось: «...а Ф. И. Тютчев снова утонул в большом свете» [17].

Кажется, именно Тютчева имел в виду О. Э. Мандельштам: «Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть выше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно» [18].

Но этот «провиденциальный собеседник» приобретал все более конкретный облик. И если между первой и второй попыткой издать сборник Тютчева пролегло 15 лет, то всего два года разделяют выход «Раута» на 1852 год с объявлением Сушкова и письмо Тургенева С. Т. Аксакову от 10 февраля 1854 года, в котором сообщалось: «...Я сделал здесь две хорошие вещи: уговорил Тютчева (Ф<едора> И<вановича>) издать в свет собранные свои стихотворения и помог Фету окончательно привести в порядок и выправить свой перевод Горация» [19]. С. Аксаков, отец будущего биографа поэта, одобрил идею Тургенева: «Вы сделали два добрые дела, уговорив Тютчева издать свои стихотворения, а Фета — свои переводы Горация» [20].

На этот раз дело шло на редкость быстро; дополнительные сведения о подготовке сборника мы находим в письме Плетнева Вяземскому, датированном тем же февралем 1854 года:

«Теперь такое наводнение стихов, что без новых не проходит и дня.

...Тютчев согласился на издание полного собрания своих стихотворений, чем распоряжаются: Тургенев (возвратившийся из деревни), Панаев и Некрасов. Они тиснут их сперва в ,,Современнике'', а потом выпустят отдельной книжкой» [21].

Так оно и случилось. В том же феврале «Современник» на отдельном листе поместил объявление: «Несколько лет тому назад редакция



„Современника“ имела случай заметить, что автор стихотворений, которые помещал Пушкин в своем „Современнике“ под названием „Стихотворений, присланных из Германии“, принадлежит несомненно к замечательнейшим русским поэтам, и изъявляла сожаление, что произведения его не собраны и не изданы в одной книге и оттого не пользуются известностью, которой вполне заслуживают* . Теперь нам приятно уведомить читателей, что автор (Федор Иванович Тютчев) представил нам право напечатать все его стихотворения, как прежде напечатанные, так и новые, что мы и исполним в следующей книжке „Современника“. Всех стихотворений г. Тютчева слишком девяносто, из которых более половины появятся в первый раз в печати. Мы поместим их в начале III книжки „Современника“ с отдельной нумерацией, заглавным листом и оглавлением, чтобы желающие могли переплести стихотворения Ф. Тютчева в отдельную книгу и отвесть им в своей библиотеке место рядом с замечательными русскими поэтами, на которое они имеют неоспоримое право по своему достоинству, признанному за ними еще Пушкиным»[22].

Это объявление интересно во многих отношениях. Во-первых, в нем почему-то говорится не об отдельном *издании,* а только о *приложении* к «Современнику». (Кстати говоря, стихотворения, приложенные к двум журнальным книжкам «Современника», действительно переплетались под одну обложку; такой самодельный сборник Тютчева иногда путают с его отдельной книжкой.) Во-вторых, сильно завышено число неопубликованных ранее стихотворений, которые должны появиться в «Современнике»: возможно, заручившись лишь принципиальным согласием Тютчева, издатели журнала в начале февраля еще не представляли себе характер мартовской и тем более майской публикаций; возможно, это преувеличение вызвано престижными соображениями. Есть и другое, самое простое объяснение: ни сам поэт, ни сотрудники «Современника» не знали о всех предшеству-

* Намек на статью Некрасова «Русские второстепенные поэты», опубликованную в 1850 году.



ющих публикациях, рассеянных к тому же по недолговечным и забытым изданиям. И, наконец, мы находим в объявлении становящуюся уже традиционной ссылку на авторитет Пушкина — публикатора Тютчева.

В приложении к мартовской книжке «Современника» за 1854 год появились 92 стихотворения Тютчева (из них 71 печаталось ранее и лишь 21 публиковалось впервые). В приложении к майской книжке журнала увидело свет еще 19 стихотворений (из них впервые — только два).

В самом же начале июня 1854 года появилась отдельная книга — «Стихотворения Ф. Тютчева» (цензурное разрешение от 30 мая). В нее вошли все произведения, только что напечатанные в «Современнике», за исключением одного («Не гул молвы прошел в народе»), снятого по цензурным соображениям.

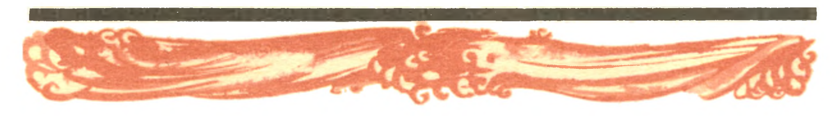
Итак, первый сборник Тютчева наконец увидел свет. То, что в конце 30-х годов не удалось Гагарину с помощью осиротевших членов пушкинского кружка, печально взиравших на свое будущее — и будущее поэзии вообще, то, что в 1852 году не удалось дилетанту Сушкову, всецело обращенному к литературной старине и ее нравам (за это, в частности, и осмеял «Раут» Некрасов), — осуществили люди другой эпохи и совершенно другого склада. Издание первой книжки Тютчева — результат совместных усилий литераторов, сотрудничавших тогда в «Современнике»: Плетнев, как помним, помимо Некрасова и Тургенева, называл еще И.И.Панаева, а Л. Н.Толстой, близко стоявший тогда к этому кругу, упомянул — правда, много лет спустя — и критика А. В. Дружинина [23]. Деловые качества этих людей, особенно Некрасова, хорошо известны. Но понятно, что заниматься чистой благотворительностью они бы также не стали — тем более, если принять во внимание существенную разницу взглядов их и Тютчева, который был убежденным консерватором и к тому же — высокопоставленным чиновником. Да и какие-либо неофициальные отношения между партией «Современника» (исключая Тургенева) и Тютчевым не складывались. Однако — как ни парадоксально,



на первый взгляд, — это способствовало большей литературной дальновидности «современников» по сравнению с такими искренними друзьями поэта, высоко ценившими его дар, как Вяземский или Плетнев. Именно отсутствие кружковых пристрастий и домашних отношений с поэтом помогало с предельной ясностью осознать, что выход книги Тютчева приобретает общелитературное, общекультурное значение; и Некрасову с соратниками достало энергии довести задуманное до конца. Немаловажно то, что в 1854 году еще не угадывался раскол «Современника», повлекший за собой уход из журнала дворянских писателей во главе с Тургеневым. В 60-е годы Некрасов и Тургенев — литературные противники, и общих издательских дел у них быть не могло.

По традиции, утвердившейся еще в 1920-е годы, непосредственным редактором первой тютчевской книжки считался Тургенев [24]. Позднее, в результате обследования материалов, ранее не введенных в оборот, К. В. Пигарев установил, что многочисленные поправки в тютчевских текстах восходят не только к Тургеневу, но и к Некрасову, а также в значительной степени к Сушкову — его подготовительная работа над неосуществившимся в 1852 году сборником поэта была учтена при издании книжки 1854 года[25]. Целый ряд стихотворений Тютчева до сих пор печатается с этими поправками. Издательский процесс скорее всего контролировал Некрасов, у которого был наибольший опыт: в пользу такого предположения косвенно свидетельствуют и два письма Пономарева Гаевскому для Некрасова (одно из них цитировалось в первой главе), в которых библиограф сообщал о тех стихотворениях Тютчева, которые не вошли ни в мартовскую, ни в майскую публикации «Современника».

Сам же поэт остался безучастным к изданию своей первой книжки, очевидно, придерживаясь того мнения, которое он высказал некогда Гагарину. Фет вспоминал: «Быть может, не всем известно, что Тургеневу стоило большого труда выпросить у Тютчева тетрадку его стихотворений для „Современника“. Познакомившись впоследствии с Федором Ивановичем, я убедился в необыкновенной его авторской



скромности, по которой он тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность» [26]. Любопытная деталь: И. Аксаков считал, что уговорить Тютчева удалось Тургеневу, наоборот, «без труда» [27] — но именно потому, что поэт был безразличен к изданию книжки. Действительно, согласно всем известным источникам, ни малейшего интереса к судьбе своего сборника Тютчев не проявлял. Однако ни современникам, ни потомкам *весь* Тютчев не открылся. Среди писем к П. В. Быкову, издателю первого «полного», — вернее, претендовавшего на полноту — собрания сочинений Тютчева (оно выдержало несколько изданий в начале XX века), сохранилось обширное послание Г. С. Гагарина, написанное в конце 1912 — начале 1913 года. В нем, между прочим, сообщалось: «П. М. Ковалевский, например, утверждал, что многие поправки Тургенева были порчею, и мне показывал свой экземпляр с пометками, сделанными со слов Тютчева» [28].

Ковалевский — известный литератор, достоверный мемуарист (его воспоминания о Некрасове — из лучших в обширной литературе о поэте). Надо думать, Тютчев все-таки держал в руках свою книжку, заглядывал в нее. И не потеряна, может быть, надежда отыскать экземпляр Ковалевского — внести исправления в тютчевские тексты.

Вопрос о редакторском вмешательстве тесно связан с характером восприятия поэзии Тютчева в 50-е годы. Попытки упростить синтаксис, усреднить лексику, сгладить ритмику (вспомним впечатление Пономарева: «путаница размеров и однообразие стоп») были вызваны стремлением хотя бы запоздало ввести его поэзию в русло той традиции, которой он противопоставил себя еще в 20-е годы. По логике вещей, Некрасов, активно боровшийся с этой традицией, как раз должен был особенно ценить черты поэтической индивидуальности Тютчева, но даже он был смущен вызывающе архаическими конструкциями и оборотами в издаваемых им стихотворениях (реформа Некрасова, наоборот, узаконивала современное прозаическое слово). Один только пример некрасовского исправления — строка: «Души его, ах, не встревожит» заменена на: «Увы! души в нем



не встревожит». Что же касается Тургенева, то для него гармоничность пушкинского стиха была главным мерилом, и потому, публично объявляя Тютчева великим поэтом (об этой статье речь пойдет далее), он сделал оговорку: «... у него часто попадаются устарелые выражения < ...> он иногда как будто не владеет языком»[29].

Таким образом, преклоняясь перед поэтической натурой Тютчева, превознося его поэтическую *мысль*, Некрасов и Тургенев с известным пренебрежением относились к стиховому *материалу*, позволяя себе немало вольностей в обращении с ним.

«Появление небольшого собрания стихотворений Тютчева в „Современнике" (оно и явилось основой сборника. — *А. О.*) было приветствовано в нашем кругу со всем восторгом, которое заслуживало это капитальное явление»[30]. Эти строки из воспоминаний Фета подтверждены и другими свидетельствами. Однако П. В. Анненков, входивший в тот же кружок «Современника», что и Фет, опередил многих своих друзей: еще до появления первой публикации в «Современнике» (мартовской), в письме Н. П. Огареву (очевидно, в конце января — начале февраля 1854 года) он поставил поэзию Тютчева выше лермонтовской. Анненков послал Огареву копии каких-то стихотворений Тютчева. Огарев благодарил, но оценку своего корреспондента оспорил: «Вы говорите, что стихи Тютчева выше всей лермонтовской поэзии. Нет, Анненков! Нет того sui generis* склада, никому иному не принадлежащего, который есть у Лермонтова и составляет особенность, производящую сильное впечатление. А по мысли много выше»[31].

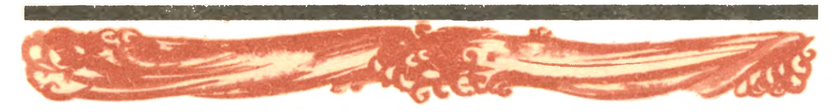
Как разительно изменился контекст разговора о Тютчеве: сравнение с Лермонтовым — это уже не компания Ротчева или А. Крылова.

Между двумя журнальными публикациями Тютчева в «Современнике» появилась статья Тургенева «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева»; это был литературный манифест 50-х годов.

Тургенев подчеркивал, что особенность таланта Тютчева предстает не в каком-то отдельно взятом «качестве» (Фет, например,

---

* своего рода *(лат.)*.



превосходит его «пленительной, хотя несколько однообразной грацией», Некрасов — «энергической, часто сухой и жесткой страстностью»), но в «соразмеренности таланта с самим собой», в «соответственности его [таланта] с жизнью автора» (с. 422—423). И потому «на одном г. Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к которой он принадлежит и которая так ярко и сильно выразилась в Пушкине» (с. 423).

«Чисто лирические элементы, — продолжает автор, — определительно ясны и срослись с самой личностью автора, от его стихов не веет сочинением; они все кажутся написанными на известный случай, как того хотел Гете, то есть они не придуманы и выросли сами, как плод на дереве, и по этому драгоценному качеству мы узнаем, между прочим, влияние на них Пушкина, видим в них отблеск его времени» (с. 424).

Ощущая нарушившуюся связь литературных времен, ощущая невозвратимость той великой поэтической эпохи, которая у него (и не только у него) ассоциировалась с именем Пушкина, Тургенев с тем большей радостью находит среди своих современников художника, удержавшего исчезнувшую цельность поэтической личности. Тургенева — даже если бы он был осведомлен о противостоянии Пушкина и Тютчева — это вряд ли бы заинтересовало; так в обстановке середины 50-х годов, когда необходимо было вновь утвердить достоинство поэзии, легенда о Тютчеве, «как бы завещанном нам приветом и одобрением Пушкина» (с. 423), обрела историко-культурную значительность, не предусмотренную ее первыми распространителями. (Кстати, эту легенду Тургенев воспринял, очевидно, от Плетнева, в дом которого он вошел еще в 1837 году и который навсегда остался для него «наставником старого времени»[32].)

Тургенев признавал, что «внешняя сторона <...> дарования» Тютчева «не довольно, быть может, развита; но все это выкупается неподдельностью его вдохновения, тем поэтическим дуновением, которым веет от его страниц...» (с. 425). Эту мысль проясняет замечание Тургенева (в письме С. Аксакову от 31 мая 1854 года) о



Баратынском, который также привлекал его особенное внимание в это время: «Ума, вкуса и проницательности у него было много, может быть, слишком много — каждое слово его носит след не только резца — подпилка — стих его никогда не стремится, даже не льется»[33]. Непосредственное и абсолютно свободное бытие в поэзии, по мнению Тургенева, — существенное и редчайшее «пушкинское» качество.

Автор статьи не предсказывал Тютчеву «той шумящей, сомнительной популярности, которой, вероятно», поэт «нисколько не добивается», — «но мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, которым дорога русская поэзия, а такие стихотворения, как «Пошли, Господь, свою отраду...» и другие, пройдут из конца в конец Россию <...> Г. Тютчев может сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет» (с. 427).

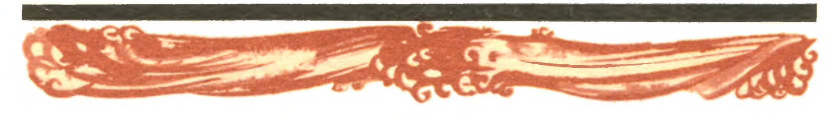
О Тютчеве в 1854 году нам как раз многое известно. О книге — повторим — он не обмолвился ни словом, но вот стихотворение, написанное без всякой задней мысли:

Лето 1854

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..

Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свет...
Не издеваются ль над нами?
Откуда нам такой привет?..

Увы, не так ли молодая
Улыбка женских уст и глаз,
Не восхищая, не прельщая,
Под старость лишь смущает нас!..



Этот год — воистину необычный для Тютчева: книжка, большие публикации в «Современнике»; появились его стихи и в сушковском «Рауте». Не забыт он и критикой. Тургенев ошибся — о Тютчеве спорят; и Тургенев не ошибся, ибо спор о Тютчеве — спор о поэзии.

Для удобства выстроим хронологический ряд.

Февраль. Сушков в «Рауте» разражается пространной, болтливой и довольно пустой статьей «Обоз к потомству с книгами и рукописями». Характеризуя прежних и нынешних писателей (первые не в пример лучше!), он не забывает, конечно, и о Тютчеве. «Из живых теперь у нас стихотворцев всех ближе к Лермонтову и ни на волос не ниже Лермонтова, это, если я не заблуждаюсь, — Ф. И. Тютчев» [34]. Если у Огарева противопоставление Лермонтова и Тютчева было осмыслено: подчеркивался контраст между поэтической индивидуальностью и поэтическим мышлением, то Сушков не объясняет, чем Тютчев «ближе» и почему «ни на волос не ниже» Лермонтова. Он спешит к Лажечникову, но примечательно его замечание: «Не говорю о помещенных в „Современнике" стихах Федора Ивановича как о вдохновениях молодости, под влиянием чужого, большею частью, неба и немецкой, отчасти, литературы» [35]. Сушков, конечно, обижен, что первая книжка Тютчева издается не им — родным человеком, а чужим и враждебным Некрасовым; он так обижен, что невольно дезавуирует и собственно Тютчева; да и вообще весь отзыв содержит неточности.

Но кто же читает Сушкова и его сборник, изданный «в пользу пресненского семейного приюта (ведомства дамского попечительства в Москве)»?

Март. Первую публикацию в «Современнике» рецензирует журнал «Пантеон». Из 92 стихотворений — «десятка два хороших, десятка два посредственных, остальные очень плохи». Таких стихотворений, какие пишет Тютчев, «можно написать десяток в несколько часов, без малейшего труда»[36]. Все анонимные отзывы о Тютчеве в «Пантеоне», появившиеся в 1854 году, принадлежат В. Р. Зотову (см.: Егоров Б. Ф. В. Р. Зотов — литератор и публицист 1850-х гг.—Учен. зап. Тартус гос. ун-та, 1959, вып. 78, с. 127, 135).

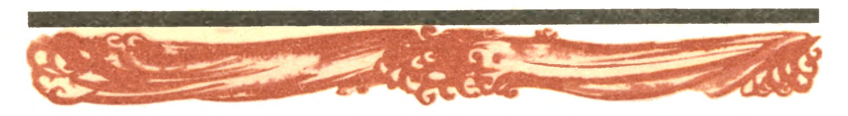


Это — отнюдь не курьез, а закономерное явление, вызванное долгой отвычкой от стихов: дает о себе знать «антипоэтическая эпоха». И, согласно «здравому» смыслу, критик называет «пустым» [37] стихотворение:

Вечер мглистый и ненастный...
Чу, не жаворонка ль глас?
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!..

Апрель. В «Современнике» появляется статья Тургенева, о которой говорилось выше. «Пантеон» не оставляет ее без внимания. Она «на двух страницах заключает в себе много странного, ошибочного и изысканного» [38]. Цитируя тургеневскую статью, «Пантеон» заключает, что изложение автора тяжеловесно и невнятно. «И можно ли так высоко ставить г. Тютчева? Нет, критика не далась И. С. Т., и он напрасно оставил для нее род произведений, в которых он так велик» [39].

Как бы не замечая реплик «Пантеона», в разговор вступает — на страницах «Современника» — известный критик Дружинин, автор ежемесячных «Писем „иногороднего подписчика" о русской журналистике». Он констатирует начало новой поэтической эпохи: «По всей вероятности, в настоящем моем письме речь будет идти об одних только стихотворениях, об одной только поэзии — обстоятельство небывалое и радостное <...> Давно ли, говоря о стихах, впадали в лирическое негодование? <...> Теперь кончилось тяжкое время для поэтов; они переждали бурю и снова стали на свое место, в голове русской литературы. Почти каждый из ныне живущих поэтов снова начал петь, посреди общего внимания, при знаках нелицемерного участия. Князь Вяземский, Тютчев, Майков, Фет и другие поэты <...> много сделали для марта месяца» [40].



Май. О тютчевской публикации появляется отзыв в «Москвитянине» — в этом журнале завершалась эпоха ее «молодой редакции», горячей и бесшабашной: Аполлон Григорьев, Борис Алмазов, Евгений Эдельсон. Рецензию на мартовскую и апрельскую книжки «Современника» написал Алмазов: «Стихотворения г. Тютчева отличаются обилием прекрасных мыслей и необыкновенным благородством чувства и тона» [41]. Приходится лишь сетовать, что ни в то время, ни позже не удалось Ап. Григорьеву посвятить специальную работу поэзии Тютчева. Во многих его статьях разбросаны тонкие суждения о поэте, очень занимавшем Григорьева; в памяти современников остались разговоры Григорьева о Тютчеве. Уже упомянутый П. Быков вспоминал, что при первой встрече с ним Григорьев спросил: «А кого любите из поэтов больше всего? <...> и, когда я, назвав несколько имен, упомянул Тютчева, Аполлон Александрович как-то просиял весь, потрепал меня по плечу и воскликнул: «Это мой божок! При первой возможности подарю вам знакомство с ним... Увидите, что это за умница... Оригинал, острый язык, даровит во всех смыслах. <...> Однако светский лентяй, скромник, поэтического дарования своего не ценит, словно стихи пишет мимоходом, между прочим... Создает замечательный перл, а говорит небрежно:» j'ai fait quelques petites rimes*»[42].

Июнь. В «Пантеоне» толкуют о публикации в майской книжке «Современника». Критик цитирует отдельные строки из стихотворений, призывая всех в свидетели, что писать «пламенит» — нельзя ни в коем случае. Подпущена и ирония: «Но всех редкостей не выпишешь. Между ними есть даже хор из какой-то оперы под названием «Песнь скандинавских воинов», очень похожий на все хоры, которые поются на сцене героями, возглашающими: вперед! вперед! скорей на брань!, и не двигающимися с места» [43].

Впрочем, стихотворение «Успокоение» обнаруживает, на взгляд критика, «дарование» автора, «но еще больше, — не удерживается он, — претензий на дарование» [44].

---

* Я сделал несколько маленьких рифм *(франц.)*.

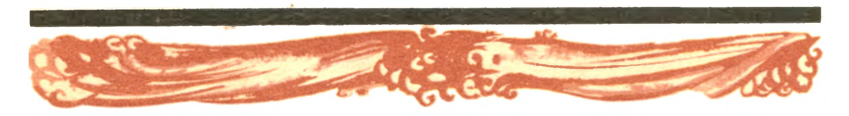


Июль. Наступает черед второго — после «Современника» — по влиянию журнала: «Отечественные записки» неодобрительно высказываются о майской публикации Тютчева, оговаривая, однако, «уважение, которое мы получили к таланту Тютчева, по прочтению его первых стихотворений»[45] (то есть после мартовской публикации). Но это лишь первое слово «Отечественных записок».

Август. В «Отечественных записках» появляется обстоятельная рецензия на книжку Тютчева — анонимная. Автор ее долгое время не был известен; в 1962 году один из лучших знатоков русской критики прошлого века Б. Ф. Егоров приписал ее перу С. С. Дудышкина[46]. Однако в ЦГАЛИ удалось обнаружить авторскую рукопись этой рецензии среди бумаг П. Н. Кудрявцева[47], известного критика, беллетриста и историка. Вопрос об авторстве особенно важен, так как эта рецензия по значению своему приближается к статьям Некрасова и Тургенева.

Кудрявцев начинает очень категорично: «Наконец, после долгого молчания, в литературе нашей снова послышались поэтические звуки и чувствуется вдохновительное присутствие музы. Тому уже много лет, как мы перестали слышать ее голос и думали, что те наслаждения, которыми она, как цветами, убрала нашу молодость, давно прошли для нас и не возвратятся вновь. Раз пустив корни в землю, искусство не умирает, но пышный цвет бывает на нем только однажды. Нам казалось, что мы уже оставили его позади себя, что от прекрасной весны нашего искусства сохранились лишь немногие предания, как вдруг откуда-то послышался прежний гармонический строй и чей-то звучный голос снова напевает слуху давно знакомую ему мелодию...»[48]

И затем, воскликнув: «как не узнать поэзии, хотя бы даже по нескольким оторванным звукам!» (с. 56), — автор столь же обильно цитирует Тютчева, как некогда Некрасов. Приведя стихотворение «Святая ночь на небосклон взошла...», Кудрявцев сопровождает его характерными словами: «Кто из нас не пережил прекрасного дня и не видел потом тихо-нисходящей ночи? Но кто из нас видел этот „золотой ковер“, раскинутый над бездной, или кто подметил, как ночь



всходила над землею, и как она свивала его, между тем, как внешний мир *уходил* прочь, подобно видению?». Попутно критик делает внушение своему коллеге из «Пантеона»: «И кто, однако, поручится, что многие не пропустят этого произведения («Как океан объемлет шар земной...» — *А. О.*) оттого только, что не привыкли останавливаться над стихом мыслью и думают усвоить себе всякую поэтическую идею, не давая себе ни малейшего труда. Нам кажется, напротив, что даря читателя прекрасным образом, поэт в праве потребовать и с его стороны некоторого труда, некоторого внимания к себе» (с. 58).

Впрочем, размышляет Кудрявцев, как вообще определить подлинность поэзии? В «золотом веке», полагал критик, ее ощущали безотчетно, но сейчас в новую эпоху, по всей вероятности, для этого требуются усилия. И критик взывает к *поэтической памяти* русского читателя.

«Помните ли то время, когда у нас процветала целая школа поэтического искусства <...> ? <...> Тогда мы знали поэзию не по слуху; тогда она была нечто живое, воочью совершавшееся. Всякий, у кого только было ухо, мог легко узнать ее строй и изучить в живых примерах ее мелодию. <...>

Тогда не знали точных определений и означали этот неуловимый эфир, которым веет от всего поэтического, словом «невыразимое». После того многое определилось в поэзии, подвергнутый анализу поэтический процесс стал яснее для чистой мысли <...> Но и сверх всех найденных определений осталось еще нечто неуловимое, что до сих пор не покоряется никакому анализу и не выражается никаким точным словом. Эта поэтическая квинтэссенция дается лучше всего по сравнению с готовыми образцами, с теми особенно, которые сами собою остаются в памяти <...>.

Потревожьте немного память вашего слуха...» (с. 58—59).

И, подобно Тургеневу, критик самым непосредственным образом связывает творчество Тютчева с пушкинской эпохой (в которой, как знаем, поэт котировался не выше «обоих Туманских»). «...Своею

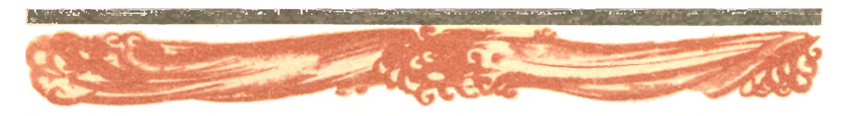


мелодией, своими образами и еще тою «невыразимою» прелестью, которая остается в поэзии после звучного стиха и яркого образа, он прямо переносит нас в тот золотой век» (с. 60). Понятно, что если «золотой век» дал меру русского стиха, то в более поздние времена представление о высоком поэтическом даровании естественным образом подключает его к пушкинской традиции. Тем более это относится к критике середины 50-х годов, остро ощущавшей прерывность поэтического предания. И в этом была историческая закономерность.

Август (продолжение). «Отечественные записки» выходили на редкость аккуратно: в самом начале месяца. И потому «Пантеон» успел в том же месяце откликнуться на рецензию Кудрявцева. И если Тургеневу чуть ранее советовали бросить критический жанр и вернуться к прозе, в «которой он так велик», — то с анонимом из «Отечественных записок» вовсе не церемонятся. «Наговорено много, цитировано еще больше, но мы никак не можем согласиться с мнением рецензента на счет достоинства многих произведений. Рецензент восхищается часто там, где следует охуждать»[49]. Создается впечатление, что, видите ли, до г. Тютчева не являлось у нас ни хороших стихов, ни хороших поэтов! <...> Хороша поэзия, в которой надобно еще добиваться смысла, которую еще надобно разгадывать!»[50].

Размышления Кудрявцева, по мнению автора «Пантеона», — словесная мишура: «Критик, вероятно, полагает, что, говоря о стихах, следует и в прозе выражаться поэтически»[51].

Сентябрь. Рецензия на книжку Тютчева опубликована в «Библиотеке для чтения» (ее автор неизвестен). Начало ее выдержано в том разухабистом тоне, который задал своему журналу его основатель Барон Брамбеус (О. И. Сенковский): «Собрание стихотворений, изданное господином Тютчевым, не принадлежит вовсе к роду мрачно-гробовой, или к области бешено-восторженной поэзии, против которой так полезны карлсбадские воды и идропатическое лечение»[52]. Но внезапно зубоскальство пропадает, начинается дельный разбор, и рассуждения о том, что поэзия Тютчева — преимущественно поэзия



мысли, увенчиваются примечательной характеристикой: «Искусство действует неизбежно всем известными, всех навещающими мыслями, а великий писатель — тот, кто для мысли, всеми ощущаемой, находит самое верное, самое короткое и самое красивое выражение, которого другие найти не умеют» [53].

С очередными «Заметками и размышлениями Нового поэта по поводу русской журналистики» выступает на страницах «Современника» И. И. Панаев. Его положение сложное. Тютчев — поэт, которого «Современник» открыл; «Отечественные записки» — извечный конкурент, согласие с которым невозможно. Панаев, разбирая рецензию Кудрявцева, о Тютчеве не говорит, общий вывод ее не оспаривает, но стиль ему решительно не нравится. Слишком много цитат, а сам критик лишь перекладывает «поэтический оригинал» на «прозаические фразы» [54].

«Пантеон» упрекал Кудрявцева (точнее, анонима «Отечественных записок») в «поэтичности», «Современник» — в «прозаичности». Разговор сбивается на журнальную полемику.

7 сентября И. И. Лажечников отправляет Ф. А. Кони, издателю «Пантеона», вполне дружеское письмо: «За что вы Тютчева так унизили? Позвольте вам сказать, что несправедливо. Поэт, каких у нас нет ныне»[55].

Октябрь. Но «Пантеон» не унимается. Достается рецензенту «Отечественных записок», всего же более —Тютчеву: «Не риторика, а чистая логика, то есть здравый смысл не позволяет нам называть полдень «мглистым», а звезды «сумрачными» <...> и никакая поэтическая вольность ни на каком языке не оправдает такого эпитета, заключающего в себе явную нелепость, невозможность, несообразность» [56].

На это уже никто «Пантеону» не ответил.

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...

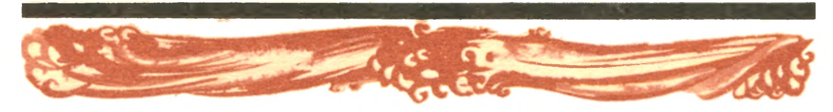


Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной...

«... Жанровая новизна фрагмента могла с полной силою сказаться лишь при циклизации в сборнике: из сборника вырастает новое поэтическое лицо фрагментариста-философа...»[57] — заметил Тынянов, размышляя о литературной судьбе Тютчева в 20—30-е годы. В каком-то смысле можно говорить о том, что первая книжка Тютчева появилась вовремя: поэтическое движение 50-х годов помогло читателям и критикам пристальнее вглядеться в новое и необычное «лицо» — эффект был значительным. А. Ф. Писемскому из провинции казалось даже, что в 1854 году печать «кричит в пользу» Тютчева[58], а ведь далеко не все желавшие высказались тогда о поэте. Не исполнилось, в частности, намерение Н. Г. Чернышевского посвятить «прекрасным стихам»[59] Тютчева отдельную статью; лишь спустя пять лет вышла статья о нем Фета.

Уже в середине 50-х годов сборник Тютчева осознается как событие, определившее свою литературную эпоху — и наиболее полно выразившее ее дух. В 1858 году М. Н. Лонгинов в статье о новом сборнике А. Н. Майкова писал: «,,Современник'' же первый подал пример к возобновлению изданий сборников, составленных из произведений одного лица. При третьей книжке 1854 года он подарил подписчиков собранием стихотворений Ф. И. Тютчева, вышедших потом и отдельной книжкой. Читатели, вероятно, помнят отрадное впечатление, произведенное появлением этих благоуханных поэзий, исполненных глубокой мысли стихотворений, на которые публика не обращала прежде должного внимания <...> Тем отраднее было, после долговременной расстановки, услышать и узнать опять звуки чистой, пленительной поэзии, от которых мы на время совсем отвыкли.

Появление стихотворений г. Тютчева было как будто сигналом окончательной реакции»[60].



Поэтическая эпоха 50-х годов одновременно была эпохой едва ли не самых ожесточенных критических баталий между представителями самых различных направлений, и каждое из них располагало незаурядными умами. Но если не считать его рецензента В. Р. Зотова «Пантеона» (не отличавшегося, как видим, вкусом и проницательностью), то во всем спектре тогдашних критических мнений не было ни одного, которое бы принижало дарование Тютчева. В оценке какого другого писателя мог солидаризироваться Чернышевский и с теоретиком чистого искусства Дружининым, и с «передовым бойцом славянофильства» К. Аксаковым (старшим братом первого биографа Тютчева), и с одиноким «почвенником» Ап. Григорьевым?

На первый взгляд, Тютчев находится в атмосфере всеобщего признания, так резко контрастирующей с предшествующей литературной судьбой поэта. Однако одобрительные, подчас восторженные суждения о Тютчеве обнаруживают и разное понимание его творчества, и даже новый драматизм во взаимоотношениях поэта со своими читателями.

Начать хотя бы с того, что «Современник», возродивший в 1854 году наследие Тютчева, с тех пор его ни разу не публиковал. В глазах сотрудников этого журнала Тютчев-классик остался в 30-х годах, именно его давние творения пропагандировались в «Современнике», а то, с чем поэт выступал в начале 50-х годов, не встречало особого сочувствия в журнале. Более того, Некрасов и его сотрудники постоянно противопоставляли «прежнего» Тютчева — «новому», сознательно или невольно наводя на мысль о том, что лучшая пора поэта — позади. Создается парадоксальное положение: наступающая поэтическая эпоха канонизирует Тютчева — но двадцатилетней давности, а его современное литературное бытие, как и в пушкинское время, — остается сомнительным.

Лучший пример тому — точка зрения Анненкова. В 1857 году выходит его биография Н. В. Станкевича, в которой он воспользовался совершенно случайным поводом, чтобы напомнить о публикации в 1833 году «Silentium!» — «произведения глубокого поэтически-

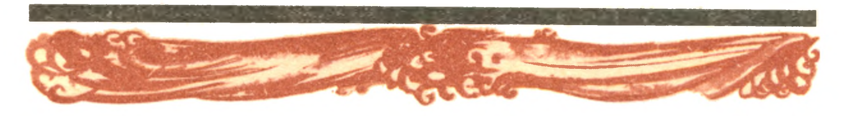


философского характера, не обратившего, однако, на себя должного внимания»[61]. А в тот момент, когда эта книга находилась в работе, Анненков писал Некрасову: «Вам, может быть, Тургенев не говорил, что стихотворения Ваши я считаю единственными серьезными поэтическими произведениями нынешнего времени. Тютчев — немец и притом больше ничего не напишет»[62].

В 1857 году славянофильская «Русская беседа» (в шестой книжке) опубликовала три стихотворения поэта — в том числе «Эти бедные селенья...». Панаев в письме В. П. Боткину (тот находился в Италии) по памяти цитирует строки из стихотворения, добавляя: «Это выучивается наизусть всеми... Все от этого в восторге — и в самом деле это забирает за сердце»[63]. Одновременно Панаев сообщает текст того же стихотворения в письме Тургеневу (тот находился во Франции) со следующим комментарием: «Не правда ли, это вещь, глубоко захватывающая за сердце?.. Каков изломанный старичок? Вот такие стихотворения печатать приятно. Тютчев обещал дать несколько стихотворений в „Современник"»[64]. Из письма с очевидностью следует, что дистанция между Тютчевым и журналом достаточно велика; Панаев не скрывает своего удивления, что «изломанный старичок», оказывается, не растерял творческую силу и вновь достоин публикации в «Современнике».

Впрочем, пессимистически настроенных современников судить нельзя: и сегодня серьезно аргументируется точка зрения, согласно которой первый период творчества Тютчева, итогом которого стал сборник 1854 года, являлся для самого поэта наиболее важным и содержательным[65].

Теперь о другой грани восприятия Тютчева в 50-е годы. В 1850 году Дружинин, процитировав только что появившееся в «Москвитянине» стихотворение «Вновь твои я вижу очи...» в своем регулярном обзоре «Письма иногороднего подписчика», дал ему довольно сдержанную оценку. Но далее, как бы отталкиваясь от этих строк, критик рассуждает: «Ни в мысли, ни в оборотах не заключается ничего особенного — поэтического или нового: все это служило поводом для тысячи



стихотворений, а между тем гармония стиха такова, что выкупает слабую сторону содержания.<...>

Написать истинно-гармонические стихи жидкого содержания несравненно труднее, нежели сочинить стихотворение блестящее по идее, художническое по подробности, но обыкновенное по стиху»[66].

М. Н. Дарвин, обративший внимание на это ранее неучтенное высказывание Дружинина (имя Тютчева им не названо), справедливо отметил, что оно — очевидный выпад против Некрасова, утверждавшего в статье «Русские второстепенные поэты», что «гладкость и правильность стиха не составляют в наше время уже ни малейшего достоинства» (с. 191)[67]. Примечательно, что этот обзор Дружинина появился спустя полгода после статьи Некрасова — на страницах того же «Современника». (Позднее Дружинин выразит откровенное недоумение по поводу того, что открытие Тютчева совершила «одна слабая, скомканная, сухая статья в «Смеси» «Современника»[68].)

Уже в 1850 году Дружинин убежденно защищает идею «чистой поэзии», намечая то противопоставление «пушкинского» и «гоголевского» направлений в русской литературе, которое будет подробно развито в его статьях середины 50-х годов. Истинный поэт, по мнению критика, должен избрать своей заповедью строки Пушкина: «Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв». Чрезмерная же погруженность в «житейские волненья» (которой, на взгляд критика, страдала гоголевская школа) для художника пагубна: «Суровая поэзия Некрасова<...> не дает никакого отзыва на врожденную во всяком человеке потребность ясности и счастия, ощущений блаженства и радости жизни»[69].

Тютчев, по Дружинину, — «один из первых нам современных поэтов»[70], выразитель «истинного лиризма». «Область г. Тютчева не велика и доступна лишь крайне развитым ценителям, — утверждал критик в 1858 году, — сам же поэт <...> не ступил ни одного шага навстречу своему читателю. Слишком беззаботный к своему призванию, он слишком мало трудился над своим талантом, оттого и собрание его

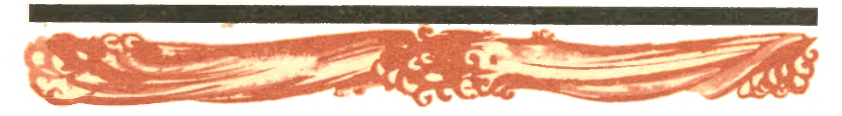


стихотворений, заставляя нас наслаждаться, слишком часто примешивает к наслаждению чувство скорби о высоком даре, чуть-чуть только что не закопанном в землю» [71]. Дружинин, принимавший участие в подготовке сборника 1854 года, имел некоторое основание говорить о «беззаботности» Тютчева, но к этой характеристике добавлены и другие, гораздо менее обоснованные, и в целом пассаж критика рождал представление о поэте-эпикурейце, равнодушном ко всему, включая собственное творчество и собственных читателей (кроме, может быть, «крайне развитых ценителей»).

Действительно, литературная «беспартийность» Тютчева, его непривычные отношения со своим печатным словом, наконец, отсутствие внешне выраженных пристрастий — все это способствовало возникновению и популяризации подобного взгляда на поэта. Но здесь мы сталкиваемся с довольно странным явлением. Теоретики «чистого искусства», которые, казалось, должны были объявить Тютчева чуть ли не самым «чистым» поэтом, не спешили с таким выводом. Более того, Дружинин в этой же статье указал на то, что «образы» Тютчева и Фета «часто не имеют должной оконченности, и сильный поэтический порыв, их взволновавший, не выражается в форме, достаточно художественной» (с. 496).

И все же мнение о поэте, отрешенном от литературных и общественных забот, рифмующем лишь в усладу себе и немногим избранным, постепенно начинает проникать в толщу читательского сознания. Никто из критиков в этом персонально не повинен. Дело заключалось в том, что быстро пришедшая на смену «антипоэтическая эпоха», в свою очередь, отталкивалась от «поэтической» эпохи 50-х годов, самая заметная фигура которой олицетворяла для «шестидесятников» и «семидесятников» бесполезный «лиризм». Закон отталкивания сработал опять — но уже не в пользу поэта.

Вернемся, однако, в 50-е годы. Рассуждения Дружинина о Тютчеве в статье 1858 года увенчивались характеристикой стихотворения «Неостывшая от зною...»: «... вещь превосходна, — причина этому та, что *человек человеческий, если им движет натура страстная и*



поэтическая, имеет в себе огромную и не поддающуюся спокойному анализу силу, ту силу, за которой никакая кисть не угонится» (с. 498; курсив автора).

За год до появления статьи Дружинина «Русская беседа» поместила статью К. Аксакова «Обозрение современной литературы». Анненков писал Тургеневу и Л. Толстому, что ее автор «при оценке писателей точно рекрутский приемщик — у того колена выгнуты, у того грыжа, у того с заду кишка вываливается...» [72]; но, пожалуй, наиболее примечателен отрывок статьи, в котором К. Аксаков как раз полностью отбрасывает «рекрутскую меру». «Принадлежа по времени к прошедшей эпохе стихотворства, г. Тютчев не теряет нисколько современности, по крайней мере, в иных стихах своих. Недавно вышло собрание его стихотворений, из которых многие написаны давно; но вновь изданные и перечитанные, они доставили новое наслаждение. Г. Тютчев это поэт, имеющий свою особенность. <...> С одной стороны, сочувствие поэта направлено к природе, к этому вечно стройному миру, к его прекрасным явлениям, исполненным такого бесконечного спокойствия, как бы ни были они бурны и грозны; в особенности, весна отражается с своею вечною прелестью в стихотворениях нашего поэта. С другой стороны, сочувствие поэта направлено к внутреннему миру человека, к тем таинственным глубинам и безднам души, где возникают призраки, где родятся мечты, где носятся видения <...> к миру не мысли ясной и не фантазии головы, но к миру снов, ощущений, предчувствий, какого-то таинственного осязания бесконечности...» [73].

Нетрудно заметить, что здесь К. Аксаков не только углубляет свою беглую оценку, данную десятилетием ранее, но и предвосхищает многие наблюдения будущих исследователей. Однако мысль о «современности» Тютчева осталась неразвернутой. Столь же кратко, но очень тонко высказался об этом Ап. Григорьев. Говоря, что Тютчев — «поэт совершенно отвлеченный от современности, поэт свободный до равнодушия», он заметил: «... и странное дело! равнодушный, свободный Тютчев в поэтических впечатлениях разви-

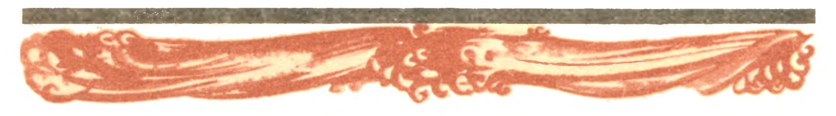


вает порою глубокие исторические и даже общественные идеи, и вы никогда не почувствуете у него ничего деланного» [74].

С К. Аксаковым и Григорьевым был согласен (разумеется, не подчеркивая этого) их неизменный оппонент Н. А. Добролюбов. В 1859 году, сопоставляя дарования Фета и Тютчева, он утверждал, что талант первого «способен во всей силе проявиться в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы; а другому доступна, кроме того, — и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни» [75]. Высказывание Добролюбова имеет два полемических прицела: во-первых, критик оспаривает утверждение Дружинина об узости «сферы» Тютчева; во-вторых, само противопоставление Тютчева и Фета вызвано появившейся в начале того же 1859 года статьей Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева», расценивавшейся в то время как вызов революционно-демократической критике.

Поэтическое «исповедание веры» Фета содержит немало формулировок, даже «формул», которые можно счесть декларациями «чистого искусства». Но прав В. В. Кожинов, переиздавший недавно эту статью для массового читателя: воспринимать ее необходимо в более широком контексте, так как Фет уже вполне угадывал приход эпохи 60-х годов[76] и намеренно заострял свою точку зрения на поэзию как на «воспроизведение» «красоты» предмета [77].

По убеждению Фета, Тютчев — «полный, самобытный, а потому нередко причудливый и даже капризный <...> властелин» поэтической мысли (с. 73); однако, «называя г. Тютчева поэтом мысли, мы указали только на главное свойство его природы, но она так богата, что и другие ее стороны не менее блестящи. Кроме глубины, создания его отличаются неуловимой тонкостию и грацией, вернейшим доказательством силы» (с. 75). И если в 1850 году Некрасову еще нужно было убеждать современников в том, что Тютчев входит в число лучших отечественных поэтов, то девятью годами позже Фет ведет уже иную речь: «... тем больше чести народу,



к которому поэт обращается с такими высокими требованиями. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды» (с. 84).

Так говорят только о великом поэте. Но статья Фета явилась как бы прощальным манифестом «поэтической эпохи» 50-х годов, вместе с которой уходит в прошлое и провозглашенный ею поэт.

В том же 1859 году Плетнев (к тому времени ординарный академик) выдвинул кандидатуру поэта в члены Академии наук; им была составлена «Записка о действительном статском советнике Федоре Ивановиче Тютчеве». В этой «Записке» Плетнев утверждал: «Он только в последний год жизни Пушкина в первый раз напечатал в „Современнике“ несколько своих стихотворений, хотя, конечно, мог бы с ним вместе начать этот путь счастливой деятельности. Еще живы свидетели того изумления и восторга, с какими Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, исполненных глубины мыслей, яркости красок, новости и силы языка» [78]. Об общем воззрении Плетнева на пушкинскую эпоху, которое определило его трактовку отношений двух поэтов, уже говорилось; отметим другое: в «Записке» столь искажены известные факты (дебют Тютчева — очевидно, в угоду красивой схеме — отнесен к 1836 году), что тем более не возникает доверия к недокументированным свидетельствам.

Академия же не сочла Тютчева достойным чести быть ее членом; это, впрочем, не интересовало ни критиков, ни читателей.

Дружинин, Фет и другие были уверены, что книжка Тютчева не имела широкого распространения. К этому приходится отнестись с большой осторожностью. 20 марта 1858 года прибывший в Москву Т. Г. Шевченко записывает в дневник о посещении А. В. Станкевича: «Весело, нецеремонно поболтали о Малороссии, и на расставанье А. В. Станкевич подарил мне экземпляр стихотворений Тютчева» [79]. Разумеется, литератор и общественный деятель Станкевич, брат Н. В. Станкевича, мыслителя 30-х годов, — далеко не рядовой читатель, и дарил он, скорее всего, издание не такое уж доступное. На эту мысль наводит и записка, полученная А. Н. Пыпиным от находившегося в крепости Чернышевского: в ней перечислены



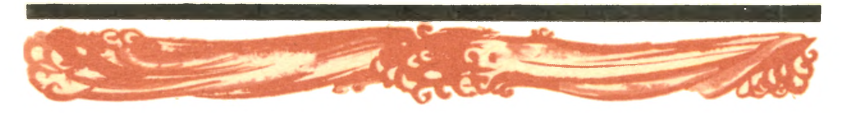
книжные просьбы, и среди них — «Тютчев (если можно достать)» [80]. Можно, таким образом, предположить, что небольшой тираж первого сборника Тютчева разошелся уже в 50-е годы.

Читали сборник не только в европейской России. 18 января 1856 года Ф. М. Достоевский, отбывавший ссылку в Семипалатинске, писал поэту Майкову, старому другу 40-х годов: «Скажу вам по секрету, по большому секрету: Тютчев очень замечателен; но… и т. д. <…> Впрочем, многие из его стихов превосходны»[81]. К сожалению, свои «но» и «т. д.» Достоевский так и не развернул.

Одно из самых сильных читательских впечатлений от сборника Тютчева получил Л. Толстой. 19 ноября 1855 года он приехал в Петербург из Севастополя и был радушно принят кругом «Современника». Уже 23 ноября на вечере у Тургенева он знакомится с Тютчевым, а 27 декабря, как отмечено в дневнике Дружинина, у Некрасова в присутствии Тургенева, Толстого и В. П. Боткина «читали стихи Тютчева» [82]. Видимо, на слух лирика Тютчева не произвела впечатления на Толстого; спустя много лет он рассказывал А. В. Жиркевичу: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К° едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта» [83].

В конце 1855 года (или в начале 1856 года) Тютчев и Толстой встретились с глазу на глаз. «Когда я жил в Петербурге после Севастополя, — рассказывал Толстой А. Б. Гольденвейзеру, — Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, — он был другом императрицы Марии Александровны в самом чистом смысле, — говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих «Севастопольских рассказов», особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно» [84].

Как знать, быть может, сближению этих людей в 50-е годы способствовал так понятный поэту протест молодого писателя против



литературы (Тютчев по-прежнему уверен, что «литературная партия» — «самая несносная из всяких» [85], Толстой же на вечере у Дружинина «объявил, что не считает себя литератором...» [86]). 5 мая 1857 года Некрасов писал Толстому: «... нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убежденно для другого, и всегда досадую, когда встречаю фразу «нет слов выразить» и т. п. Вздор! Слово всегда есть...» [87]. А. Лаврецкий справедливо заметил здесь полемику с идеей тютчевского «Silentium!» [88]. Однако в своем корреспонденте Некрасов не нашел единомышленника, ибо именно это стихотворение Толстой особенно любил и часто декламировал. [89]

В ночь на 14 апреля 1858 года Толстой приехал в Ясную Поляну. 1 мая он писал А. А. Толстой: «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю вам того же от души. Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастия.

И ринься бодрый, самовластный
В сей животворный океан.

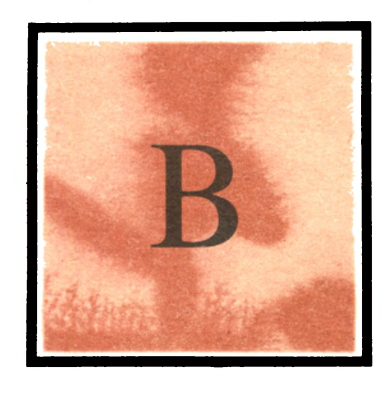
Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой, и весной невольно твержу от строчки до строчки» [90].

Такие резкие перепады вообще характерны для восприятия Тютчева; вторая его «зима» скоро наступила и продолжалась столь долго, что новую «весну» поэт уже не застал.





«О КНИГЕ СЕЙ ТЫ ВСПОМЯНИ...»



В начале 60-х годов вторая поэтическая эпоха в русской литературе себя исчерпала. Снова, как и в 40-е годы, возобладала проза, и снова поэзия лишилась общественного доверия и уважения. Дожившие до этих лет литераторы пушкинского круга остро ощущали себя едва ли не последними носителями поэтического предания. В 1864 году, обращаясь к Плетневу и Тютчеву, Вяземский так же, как и в первую «антипоэтическую эпоху», остро ощущает литературную уединенность всех троих:

О прошлом вспоминать еще могу я с вами;
В нас отголосок есть от порванной струны,
Меняться можем мы знакомыми речами,
Преданьями родной, нам общей старины.

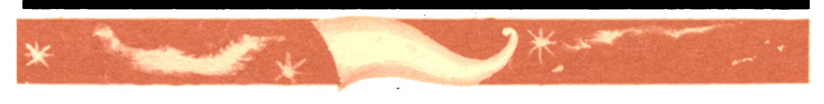
По возрасту Тютчев еще мог иметь «общую» с Вяземским «старину», но литературные их судьбы в пушкинский век сложились далеко не одинаково, как, впрочем, и в 50-е годы (Вяземский тогда пребывал в тени). В 1866 году Вяземский уточнил: «Тютчев не принадлежит к первоначальной нашей старине. Он позднее к ней примкнул. Но он чувством угадал ее, и во многих отношениях усвоил себе ее предания»[1]. Литературные отношения Тютчева и Пушкина — при всей их остроте,

о которой Вяземский мог и догадываться, — тоже составляют для него неотъемлемую часть «общей старины», когда только и жива была поэзия.

Теперь же Тютчев — один из главных литературных советчиков Вяземского. 27 июня 1865 года Вяземский пишет Плетневу (из Петербурга в пригород Парижа): «Я и сам желал бы собрать и напечатать все написанное мною в последние эти годы. Но как и с кем приступить к этому делу? Я на спекуляции не горазд. Ни одного литератора не знаю, книгопродавца также. Где найти честного и добропорядочного человека, который помог бы мне? Впрочем, увидим, попытаюсь. Тютчев здесь, но на него не возложишь этот труд»[2]. Разумеется, издательские заботы Тютчеву в 60-е годы чужды, как и прежде: однако для предполагаемой книжки Вяземского он все же написал предисловие[3] (оно не обнаружено; книжка свет не увидела).

Ничем не помог Тютчев и своему зятю (с 1865 года) И. Аксакову, который в 1868 году издал второй сборник поэта (при помощи П. И. Бартенева, о чем тот позднее рассказывал Р. Ф. Брандту[4]). «Не было никакой возможности, — вспоминал И. Аксаков во втором издании биографии Тютчева, — достать подлинников рукой поэта, для стихотворений еще не напечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть от разных членов его семейства, частью от посторонних. Между тем некоторые из этих копий были ошибочны или несогласны между собой. Пришлось выбирать лучшие и печатать без всякого участия со стороны самого автора»[5].

26 марта 1868 года, просмотрев один из первых экземпляров («сигнальных», по современной терминологии) сборника, поэт писал дочери: «Речь идет о только что появившемся, весьма ненужном и весьма бесполезном издании сборника виршей, которые были бы годны разве лишь на то, чтобы их забыли. Но так как, несмотря на все отвращение, которое я принципиально к этому питал, я кончил тем, что дал свое согласие — из чувства лени и безразличия, то потому и не имею права на это сетовать. Все же я имел основание надеяться, что



издание будет сделано с известным разбором и что не напихают в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений «на случай» <...> Я отделаюсь тем, что окажусь в роли тех жалких рифмачей, которые глупо влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок, — и хоть я, пожалуй, и не совсем в таком положении, но уж примирюсь, без особого труда, из одного отвращения и безучастия, даже с этой нелепой бессмыслицей»[6] .

Особое недовольство Тютчева вызвало то, что в книжку попали некоторые стихотворения, вовсе не предназначенные для разглашения (одно из них задевало Вяземского, другие — великого князя и сановников); из основного тиража сборника эти вещи удалось исключить. Пассаж о сборнике в письме Тютчева завершался, однако, довольно мирно: «И столько возни по поводу такого совершенно ненужного пустяка, от которого так легко было воздержаться! Бедный, милый Аксаков! Вот вся благодарность, которую он получит от меня за все свои старания...»[7]. На книге, подаренной Погодину, Тютчев написал:

Стихов моих вот список безобразный —
Не заглянув в него, дарю им вас,
Не совладал с моею ленью праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась...

В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...
О чем же хлопотать? Рука забвенья
Как раз свершит свой корректурный труд.

Погодин, знакомец поэта еще с 1820-х годов, достойно парировал: «Вы заставили меня пожалеть, что не пишу стихов, любезнейший Федор Иванович. Возражу вам прозою, что такие стихи, родясь утром, не умирают вечером, потому что чувства и мысли, их внушающие, принадлежат к разряду вековечных...»[8]

Но не мнение Погодина определяло отношение к новому изданию Тютчева; показательна в этом смысле извинительная интонация

расположенного к поэту П. К. Щебальского, рецензента «Русского вестника»: «От поэзии требуют осязательной пользы: как ни странно такое требование, но нам кажется, что по прочтении следующего стихотворения, человек, увидев нищего на улице, невольно подаст ему милостыню»[9]. Далее автор цитировал стихотворение «Пошли, Господь, свою отраду...».

Нетрудно убедиться, насколько переменились литературные времена: четырнадцатью годами ранее Тургенев, предваряя выход первого сборника Тютчева, и допустить не мог возможность подобного — вполне утилитарного, хотя и доброжелательного, — истолкования. По словам Тургенева, именно это стихотворение вместе с немногими другими «пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом» (с. 427).

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жаркой мостовой...

. . . .

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис...

. . . .

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

Впрочем, в 60-е годы и сам Тургенев, говоря о поэзии, нередко призывает молодых современников к снисходительности. В его «Литературных и житейских воспоминаниях» описана встреча с Д. И. Писаре-

вым в 1867 году, за год до выхода второй тютчевской книжки; речь зашла о тех статьях критика, в которых он довольно издевательски рассуждал о лирических стихотворениях Пушкина. Тургенев сказал тогда Писареву: «Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; стоит ли яриться против них?»[10]

Поэты наперечет: Фет, Майков, А. К. Толстой, Я. П. Полонский и самый старший из них — Тютчев. В 1867 году ему уже 64 года.

Материалы из архива музея в Мураново свидетельствуют, что тираж второй книжки Тютчева не был распродан и к концу 70-х годов.[11]. По другим сведениям, ее, «кажется, раскупили» уже к 1870 году[12] (первый же сборник Тютчева в 70-е годы — как будто большая редкость[13]). Но так или иначе, в 60—70-е годы поэт сходит с литературного горизонта. «Целая полоса старой литературы, — справедливо заметил Н. В. Котляревский, — укрывалась от взоров молодых людей, которым мечтательность, томление, религиозное затишье души, всякая пассивность и колебание в решении вопросов жизни и духа казались смешными пережитками или просто грехом перед собой и ближними»[14]. Принцип «осязательной пользы», выдвинутый в 60-е годы молодым образованным сословием, не отнимал у поэзии значение, но требовал решительного приближения ее к злободневным нуждам. И в этом смысле поэзия Некрасова очень соответствовала новому представлению о поэзии; более того, именно слова Гражданина (из некрасовского стихотворения «Поэт и Гражданин») определяли это представление:

Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви.

Но все же слишком категорично утверждение рецензента «Всемирной иллюстрации», который отнес Тютчева «к числу самых неизвестных»[15] поэтов. Тютчев в эти годы осознается как некий символ всей «старой поэзии», начиная с Пушкина. Для «шестидесятников» вопрос о Пушкине был решен Писаревым, который загипнотизировал своим приговором поэту целое читательское поколение; и Тютчева, которого предшествующая эпоха канонизировала как крупнейшего современного поэта «пушкинского корня», необходимо было столь же решительно свести с литературного пьедестала.

«Наша старая поэзия» — называлась анонимная статья, опубликованная недолго существовавшим журналом «Современное обозрение» в 1868 году — еще до выхода второй книжки Тютчева. Трудно найти более программное выступление на эту тему в «антипоэтическую эпоху» 60—70-х годов.

Большинство поэтов, начавших свое поприще в 30—40-х годах, автор причислил к «лишним людям», апатичным и безвольным. Их особенно влекла к себе природа — и не случайно: лишние люди «знали, что природа действует благотворно, и ушли к ней, ушли навсегда, отрекаясь от людей, не понимая их, осмеивая их радости и печали, еще чаще просто затыкая уши от звуков человеческого голоса, как печального, так и радостного»[16]. Общество, пишет критик, давно вышло из того состояния, которое породило «лишних людей»: открылись пути для настоящей, плодотворной деятельности, а эти поэты по-прежнему верны себе. Они, правда, «или замолчали совсем, или пишут мало и только прорываются иногда намеками на настоящие плохие времена падения искусства» (с. 318).

Два поэта названы по имени — Фет и Тютчев «договорились до своего последнего слова и выражают в своих стихах все миросозерцание того разряда людей, которых мы называли «лишними» (с. 318). Далее речь идет только о Тютчеве (предполагалось и продолжение статьи — о Фете). Он «любит только те картины природы, которые носят на себе печать страдания. <...> Это какая-то поэзия надорванности, увяданья, бесполезного, преждевременного старчес-

тва... Он только умеет бездеятельно жаловаться на судьбу, как женщина...» (с. 320—321).

Стихотворение «Silentium!», на взгляд автора, доказывает, что «именно такая смерть жизни, если можно так выразиться, и делается целью всех желаний поэта» (с. 322). А в целом его творчество глубоко чуждо обществу, которое «живет до тех пор, пока его члены не молчат, не скрывают своих чувств и мыслей, покуда они рассуждают и хлопочут и лечат дневные раны более действительными средствами, чем сон, потому что сколько ни спи — ничего не выспишь» (с. 323).

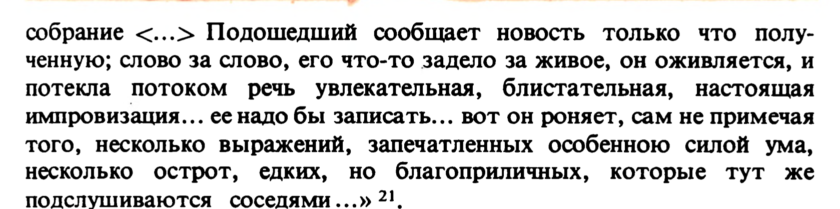
Автору этой статьи (предположительно, Н. К. Михайловскому [17]), конечно, свойственны эстетическая глухота и вера в безгрешность пресловутого «здравого смысла» (который некогда так отстаивал критик из «Пантеона»); есть в статье и то, что Тютчев назвал «бессмертной пошлостью людской». Но «Наша старая поэзия» — безусловно, показательный историко-литературный документ: присущая «шестидесятникам» сосредоточенность на реальном деле, сознание, что оно является единственным оправданием жизни, сильно сужали представление о мире; принималось только то, что непосредственно способствует улучшению общественных условий, а все не относящееся к этому — или от этого отвлекающее — без раздумий отвергалось. Б. М. Эйхенбаум подхватил и ввел в оборот высказывание о том, что в то время «честность обязывала видеть в поэзии лишь праздник» [18]; поэзия же Тютчева виделась автору «Современного обозрения» и его соратникам скорее даже пиршеством, расслабляющим — а потому и непозволительным — в тяжелый будний день. Оттого и попытка осмыслить бытие не с тривиальных, обыденных позиций, а с точки зрения поэта и философа названа «смертью жизни». Кстати говоря, тут гнев продиктовал удачный образ. (Любопытный штрих: много лет спустя Михайловскому, редактировавшему журнал «Русское богатство», начинающий П. П. Перцов предложил свои стихи. «К моему великому удовольствию он ухватился за меня обеими руками и так-таки умолять стал принести что-нибудь, а то, видите ли, цензор вычеркивает, страницы остаются белыми, а заклеить нечем» [19].)

Статья с очень схожим названием — «Старая и новая поэзия» — появилась через некоторое время в журнале «Дело». Она представляла собой развернутую рецензию Д. Д. Минаева на собрание стихотворений В. С. Курочкина. Презрительно отзываясь о «бессодержательном, колыбельном лиризме»[20], он тем не менее не считает (как «некоторые проницательные наши критики, а за ними и многие прозорливые читатели»), что поэзии нет уже места в нынешний век; просто «поэзия, вечная, как сама жизнь, требует, подобно жизни, постоянного обновления» (с. 25). Вот этого и не поняли «жрецы беспредметного, бесцельного лиризма» (с. 26) — Фет, Полонский и Тютчев. (Тютчев, правда, отнесен, к этой категории лишь «отчасти»; но трудно взять в толк, как можно быть жрецом чего-либо — отчасти!)

Усилиями этих поэтов и их подражателей русская поэзия обратилась «в какой-то палисадник дачи на Черной речке, в бессвязный мелодический лепет, где всякая мысль оскоплена, уничтожена» (с. 27). Но Минаев может указать и на положительный образец. Помимо «жрецов» в русской литературе существует Курочкин — «полезный поэт»; и тем хуже критикам, «которые не понимают, что художественность, грация, поэтические образы — будут только красивыми и бесполезными побрякушками, если они не проникнуты мыслью, твердым убеждением» (с. 40).

Поэтическую мысль Минаев уравнивает с бытовым наставлением, которое, на его взгляд, только и может заслуживать художественного оформления. Упрощенный подход критика очевиден, однако он интересен — не только как опыт отрицания самой сути поэзии, но и как попытка провозгласить «новую поэзию» — некую «поэзию без поэзии». Такая поэзия осталась, впрочем, только в замысле.

Тютчев ни «Современного обозрения», ни «Дела», конечно, не читал. Его окружала иная среда, светская. Погодин запомнил Тютчева последних лет: «Низенький худенький старичок, с длинными, остававшимися от висков поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни с одною пуговицей, застегнутой как надо <...> Из угла прищуренными глазами окидывает все



собрание <...> Подошедший сообщает новость только что полученную; слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... ее надо бы записать... вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острот, едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями...»[21].

Еще одно впечатление от Тютчева тех же лет. В августе 1871 года на железнодорожной станции Чернь он встретил Толстого и вместе с ним доехал до Москвы. Оттуда Толстой писал Н. Н. Страхову: «Я на железной дороге встретил Тютчева, и мы четыре часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя старик. Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие, и зачем и чем мы живем, и куда мы пойдем, мы не знаем, и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или даже вам мои дети. Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников»[22].

Больше они не увиделись. Узнав о смертельной болезни поэта, Толстой писал А. А. Толстой: «... вы не поверите, как это меня трогает. Я встречался с ним раз 10 в жизни; но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки»[23].

Старец, возвышающийся над суетным миром, проницающий глубинный смысл происходящего и надежно укрывающий от толпы свое поэтическое слово, — таким будет заново канонизирован Тютчев третьей поэтической эпохой, наступления которой он уже не застанет. Впрочем, молодость своих будущих почитателей он успеет встретить; и встреча эта, кажется, не оставила его безучастным.

Внук Тютчева рассказывал о том, как поэт пришел в московский лицей (начало 70-х годов): «Пока мы сидели и разговаривали, слух о его приезде быстро разнесся по всему лицею, и тотчас же на лестницу высыпало множество воспитанников, преимущественно старших классов... Некоторые, под разными благовидными предлогами, спускались вниз и, проходя мимо Ф. И., низко ему кланялись...

Когда мы еще сидели с Ф. И. на лестнице, к нам подошел мой тогдашний сверстник, некто Г. (впоследствии известный профессор), мальчуган лет 11, и совершенно серьезно произнес, обращаясь к Ф. И. по-французски:

— А я знаю почти все ваши стихотворения наизусть.

— А какое из них вам нравится больше всего? — добродушно улыбаясь, спросил Ф. И.

— Конечно, „Люблю грозу в начале мая“! — с энтузиазмом воскликнул маленький Г.

<...>Ф. И. <...> держался с ними совершенно особого тона, совсем как со взрослыми, и, к удивлению, дети понимали его с полуслова, хотя он говорил с ними вовсе уже не детским языком. Как и почему выходило так, — это тайна его гения»[24].

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать, —

Спаси тогда *нас*, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;



От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед...

Тютчев скончался 15 июля 1873 года в Царском Селе; рассказ о последних его днях — да и емкую характеристику всей жизни поэта — содержит письмо И. Аксакова Ю. Ф. Самарину, которое здесь публикуется впервые. (Оно содержит кое-какие фактические ошибки — см. главу «Тридцать лет и три года».)

«Царское Село. 18 июля <18>73.

Любезный друг. Сегодня утром схоронили мы Тютчева. Он умер в воскресенье утром, 15 июля, — вернее сказать — угас, тихо, без страданий, без жалоб, без слов: уже дня три или четыре до смерти его речь, постепенно слабевшая, как бы поникла, не потому, чтоб у него отнялся язык, но потому, что он был слишком слаб и точное выражение мысли было ему слишком трудно. Дней за 6 до смерти он хотел передать какое-то соображение, пробовал его высказать и, видя неудачу, промолвил с тоской: Oh, quel tourment de ne pas pouvoir trouver les mots, pour rendre la pensée!*. Последние 6 дней не было при нем никого, кроме его жены, не отходившей от него ни днем, ни ночью. По ее словам, в ночь с четверга на пятницу лицо его приняло такое выражение, так видимо озарилось приближением смертного часа, что для нее не осталось никакого сомнения в наступлении кончины, — хотя доктор еще накануне, да и потом в течение дня, утверждал, что его состояние может продлиться целый месяц; и даже более. Она тотчас послала за священником: его причастили и соборовали. Он лежал безмолвен, недвижим, с глазами открыто глядевшими, вперенными напряженно куда-то, за края всего окружающего, с выражением ужаса, и в то же время необычайной торжественности на челе. «Никогда чело его не было прекраснее, озареннее и торжественнее, как в эту минуту

* Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать мысль *(франц.)*.

и потом во все время агонии», — говорит его жена. Эта агония продолжалась двое суток. Священник также свидетельствовал мне, что Тютчев хранил полное сознание до смерти, хотя уже не делился этим сознанием с живыми. Вся деятельность этого сознания, вся жизнь мысли в эти два дня — выражалась и светилась на этом тебе знакомом, высоком челе, — но тайна этой мысли унесена им в могилу.

Нам дали знать об его кончине в Турово—по телеграфу, и мы тотчас же приехали, с женой*, т. е. во вторник утром, — почти одновременно с Катериной Федоровной**. (Надобно тебе сказать, что мы уехали из Царского Села 27 июня, дождавшись возвращения Катерины Фед<оровны> из-за границы, — она же, после нас, оставалась до 9 июля, и так как Федору Ивановичу было несколько лучше, то она и решилась его оставить на время, тем более, что и Дарья Ивановна*** занемогла острым ревматизмом и необходимо было перевезти ее в Москву.)

Приехавши в Царское, я нашел уже гроб закрытым: немедленно после смерти появившиеся два синие пятна на голове скоро охватили все лицо, и началось разложение. Он уже исчез, — что напомнило мне его слова, сказанные дней за 6, за 7: «Я исчезаю, исчезаю!». Служились панихиды, читался псалтырь; разные деловые люди, которым были поручены хлопоты и дрязги похоронные, а также и прислуга, — старались устроить похороны, как прилично Тайному Советнику, но я поминал его — его же стихами. Рядом с человеческой немощью в нем жило искреннейшее смирение христианина. Мне тотчас пришли на память его стихи:

О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги,
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
. . . .

---

* Анна Федоровна Аксакова, старшая дочь поэта.
** Екатерина Федоровна Тютчева, младшая дочь поэта.
*** Дарья Ивановна Сушкова (урожденная Тютчева), сестра поэта.

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые, —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

И другие стихи его, где он говорит сам про себя:

О боги! если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томя, не муча б доле,
Я просиял бы — и погас!

Вчера утром гроб, обвитый цветами, внесли в багажный вагон, куда поместились и мы, близкие и родные, и экстренный поезд железной дороги примчал его в Петербург, — где отвезли его в Новодевичий монастырь и по отпевании опустили в могилу вблизи от могилы дочери*, схороненной год тому назад. Летние похороны не так тяжело действуют на душу, как зимние; будто легче отдавать человека живой земле, среди живой природы, нежели земле мерзлой, среди окоченевшей природы. Невольно вспомнил я и эти его стихи:

И гроб опущен уж в могилу,
И все столпилося вокруг,
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух...
. . . .
А небо так нетленно, чисто,
Так беспредельно над землей,
И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой!..

На похоронах было очень, очень немного. Петербург теперь пустынен, и то общество, которого Тютчев „был, как говорится, украшением“ 30 лет сряду, среди которого он расточал дары своего

* Марии Федоровны Бирилевой (урожденной Тютчевой).



ума и которое он поддерживал так долго на некоторой интеллектуальной высоте, — изменило ему в последнюю минуту. Умственный уровень, конечно, понизится теперь в Петербурге.

Это был последний поэт, — т. е. последний поэт того типа, к которому принадлежал отчасти и Пушкин и Гёте, — последний представитель той художественности, которая являлась не как способность, не как средство и уменье, а как самостоятельная духовная среда, о которую преломляясь, лучи возвышенной, отвлеченной мысли принимали поэтические, конкретные образы в слове и звуках. — Конечно, у Тютчева не было того *служения* искусству, какое видим у всех великих поэтов эпохи. Не уступая, может быть, им в силе дарования, он слишком растрачивался в страстях и сочувствиях жизненных, — слишком беспечно, слишком небрежно относился к своему таланту, слишком мало давал ему значения, — так что для нас совсем пропали стихи первой половины его жизни: только с 1837 года стали его стихи от времени до времени появляться в печати, и то далеко не все. Именно в 36 году Иван Гагарин (теперь иезуит) привез Пушкину из-за границы несколько стихотворений некоего Тютчева, и Пушкин, тотчас же купив их напечатал их в своем «Современнике». А Тютчеву было уже 33 года, — уж он был женат в другой раз, прожив с первою 10 лет* ! Некому было собирать те лоскутки бумаги, на которых он иногда записывал свои стихи и которых никогда не прибирал к месту.

Впрочем Тютчев замечателен не только как поэт, а еще более как мыслитель, — и это самое, может быть, и мешало ему удовольствоваться стихотворным выражением мысли. Не знаю, известно ли тебе, что родившись в 1803 году, воспитанный на классиках Раичем (жившим в доме его отца в качестве гувернера), потом Мерзляковым, он в 1821 году, следовательно будучи 18-ти лет от роду, уехал за границу, именно в Мюнхен, на службу в звании attaché русского посольства, и прожил за границей *до 1844 года*, — однажды только

* Тютчев женился на Элеоноре Петерсон (урожденной Ботмер) в 1826 г. В 1839 г., через год после смерти первой жены, Тютчев вступил в брак с Эрнестиной Дёрнберг (урожденной Пфеффель).



пробыв год в отпуску в России. Таким образом, он с 18-летнего возраста пребывал чужд всему тому умственному и литературному движению, которое совершалось в России с 1821-го по 1844 год, — а эти 23 года составляют важный период в истории русского общества: это период Пушкина, Гоголя, декабристов, немецкой философии и возникновения *славянофильства*. Между тем, Тютчев, живучи в Мюнхене, в Турине, вообще за границей, совершенно одиноко, совершенно самостоятельно, силою собственной мысли доработался до убеждений вполне славянофильских не только в смысле национальном, но и в областях религиозной, даже православной. Вспомни, что он первый начал ту полемику с Западом о православии и католицизме, которую перенял у него и повел Хомяков. Вспомни его стихи к Ганке, писанные за границей в 1841 году, когда в Москве только зачинались сношения с Прагой и когда ты с Константином* только что начинали изучать Шафарика. Вспомни его стихи о русском народе, свидетельствующие о понимании таких сторон духовного народного строя, которые разумелись в то время только Хомяковым и его друзьями-учениками. И все это тем удивительнее, что семейная среда Тютчева в России и приобретенная им семейная среда за границей не дали ему никакого непосредственного знания или влечения русской народности, — что и в России жил он как бы за границей, в светском обществе Петербурга, что он был весь запечатлен печатью высшей европейской культуры.

Небольшая книжка стихотворений, — три, четыре небольшие статьи на французском языке, — вот что известно публике. Но если собрать и напечатать его письма (а их множество), то в них раскроется обилие новых, оригинальных мыслей, остроумнейших сближений, поэтических образов и оборотов речи, — что составит истинное приобретение для литературы. Это и надобно будет исполнить.

Мне нечего особенно рассказать тебе о тех двух неделях, которые я провел у него нынешним летом, — до 27 июня. Я нашел его в состоянии несравненно лучшем, чем зимою, — мы много толковали о политике, — его особенно интересовала современная борьба госу-

---

* К. С. Аксаковым.

дарства с церковью на Западе, и он издевался над победными кликами немецких либералов, не видящих в своей слепоте, какое горшее рабство готовят они себе, сокрушая идею церкви, не признавая ничего выше государственного принципа, возводя государство в верховную совесть, заменяя им всякое нравственное начало. Но дней через пять по моем приезде с ним совершенно неожиданно случился новый припадок или новый удар, разом ослабивший его физические силы; это было 13 июня: «священника и Добровольского» (секретаря цензурного Комитета) успел он выговорить тогда, но когда священник явился, то был вынужден исповедовать его глухою исповедью — он не говорил. После того ему постепенно стало лучше, он заговорил опять (причем, пояснил, что говорит мало — не от того, что не может, а потому что не хочет, да и утомляется). Замечательна была отчетливость его выражений, соблюдение оттенков речи даже в мелочах. Например, его спрашивают: с аппетитом ли он ест, — «*Не без* аппетита», отвечал он слабым, чуть слышным голосом, и т. п. Вообще же он сетовал и жаловался на свои страдания. Они были велики. Однажды в промежутке между страданиями он призывал меня, чтоб узнать новости политические. Ровно через неделю после этого припадка, уже после моей телеграммы к тебе, настиг новый припадок, да такой, что его сочли чуть ли не умершим. Позвали опять священника, который не вдруг решился его причастить и только тогда причастил, когда Ф<едор> Ив<анович> показал некоторые признаки сознания. Облитый холодным потом, нем и недвижим лежал он как мертвец. Его причастили, потом священник прочел ему отходную и напутствовал к смерти. Кругом стояли домашние, — плакали, прощались. Так продолжалось часа четыре; наконец, припадок прошел и заметно стало, что он ожил. В эту минуту приехал из Петербурга вызванный по телеграфу его духовник (ставший им недавно), и когда он подошел к Тютчеву, чтоб с своей стороны напутствовать его к смерти, то Тютчев предварил его вопросом: какие подробности о взятии Хивы? Потом сказал ему: меня сегодня уже похоронили. Когда же на другой день явился священник, его накануне причащавший, и стал было



поздравлять его с восстановлением сил, то Тютчев сказал ему — и это слабым, умирающим голосом — «а ведь странно было бы, батюшка, если б я поправился, встретиться, например, на гулянье с священником, который вас отпевал». Он до такой степени озадачивал немца-доктора своими остроумными замечаниями, выраженными голосом умирающего, что тот начинал сомневаться — точно ли болезнь в мозгу. Жизнь и деятельность уже пораженного мозга пережили жизнь и деятельность прочих органов. — Иронический склад мысли долго не покидал его, несмотря на страдания. Напр<имер>, его спрашивают «avez-vous eu une bonne selle, en êtes vous content?» И голос, словно замогильный, чуть слышно отвечает: „oui, assez bonne, mais avec les selles c'est comme avec calomnie: il en reste toujours quelque chose!*"

Четверг. 19 июля.

В нынешнем № Journal de St. Peterb<urg> появилась прекрасная статья о Тютчеве, писанная кажется Жомини. Я пришлю ее тебе. Лучше характеризовать его общественное положение и деятельность нельзя.<...>»[25].

Тютчев и И. Аксаков познакомились еще в середине 40-х годов, и авторитет поэта с тех пор стал незыблем для его будущего биографа. 15 мая 1860 года он писал матери: «Говорят, что Тютчев чрезвычайно доволен моими стихами и читал их сам вслух всем после обеда. Мне это очень приятно»[26]. После того, как И. Аксаков стал членом семьи поэта, между ними возникла духовная близость; этому много способствовало и то, что И. Аксаков, последний из когорты славянофилов, обрел в тесте своего единомышленника.

Цитированному письму И. Аксакова предшествовало его письмо Самарину от 3 мая, за два месяца до смерти Тютчева. В нем Аксаков приглашал своего друга погостить: «Природа убирается спешно, — все задвигалось, затрудилось, заликовало; особенно хороши ночи — весенние звонкие и гулкие ночи, когда смолкают человеческие голоса и явственна становится для слуха непрестанная, неумолчная

* У вас был хороший стул, вы довольны? <...> да, неплохой, но со стулом, как со сплетней, от них всегда что-то остается *(франц.)*.



работа природы, — шорох новой творящейся жизни, сопровождаемой и пением соловья, и кваканием лягушек, гуденьем жуков и всякою звучностью.

<...>Приезжай — желаю этого не только для себя, но и для тебя. Приезжай взглянуть и дохнуть весною.

Приди, струей ее эфирной
Омой страдальческую грудь,
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Скажу тебе стихами Тютчева»[27].

Аксаков цитирует здесь то самое стихотворение «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...»), которое приводили Плетнев, Толстой.

Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет
И ни морщины на челе.

23 июля 1873 года «Гражданин» откликнулся на смерть Тютчева некрологом, автором которого, по всей вероятности, был Достоевский. «15 июля, в Царском Селе, скончался Федор Иванович Тютчев, сильный и глубокий русский поэт, один из замечательнейших и своеобразнейших продолжателей Пушкинской эпохи. С горестью сообщая об этой утрате нашим читателям, мы имеем в виду в непродолжительном времени, в отдельной статье, по возможности оценить поэтическую деятельность покойного поэта»[28]. В следующем номере «Гражданина» со статьей, посвященной памяти поэта, выступил В. П. Мещерский. Как бы подхватывая мысли и даже слова Вяземского, он писал: «...с кончиною Ф. И. Тютчева мы лишились великого русского поэта. <...> К числу <...> утраченных нами преданий, увы! следует отнести предание о поэте и поэзии». И далее Мещерский столь же откровенно противопоставляет Тютчева «полезной поэзии», как чуть ранее Минаев, — но в «Гражданине» это звучит высшей похвалой: «До последнего издыхания он был человеком



своего времени, своей эпохи; но в течение полустолетия его поэтической деятельности никто не мог обидеть его названием *современного поэта* в том смысле этого наименования, в каком оно понимается теперь»[29] (курсив автора). Сам Вяземский (ему уже было за восемьдесят) в письме Е. Д. Милютиной буквально повторил слова И. Аксакова: «Петербург понес невозвратимую потерю в Тютчеве. Он оживлял однообразное молчание его своими разнородными мотивами, то острыми и насмешливыми, то грациозными, глубокими и всегда своеобразными»[30].

Самарин, узнав о смерти Тютчева из газет, немедленно (22 июля) писал Аксакову, еще не получив его подробного послания: «Я знал, что он не жилец между нами, и все-таки только теперь испытал я это невыносимо тяжелое ощущение образовавшейся пустоты, которая никогда не восполнится, этого оскудения в собственной жизни. Помню, как давило меня это чувство в Петербурге в первые дни после кончины Хомякова и как меня мучило, что я не в состоянии был выразить его самому себе. Федор Иванович пришел ко мне из первых и встретил меня словами: „On èprouve ce qu 'on ressentirait si on venait de perdre un organe“*. Как это верно! И сколько было подобных случаев, сколько раз он, сам того не подозревая, радовал меня, подслуживаясь мне отчетливым и художественно-верным выражением мысли или чувства, которого я сам не в состоянии был себе уяснить. <...> Как поэт и художник слова он принадлежал бесспорно к пушкинской плеяде, а по природе своей приходился более язычнику Гете <...> Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидел собрание рукописное некоторых его стихов, привезенное Гагариным из Мюнхена. Он носился с ними целую неделю, и они в первый раз появились в печати в его ,,Современнике“. Неужели ты этого не знал?»[31]

Легенда о «благословении», полученном молодым поэтом от великого собрата, возникла, как помним, сразу после смерти

* Испытываешь то, что ощущал бы, потеряв какой-либо орган *(франц.).*

Пушкина — и после смерти Тютчева ее обновило свидетельство Самарина. По всей вероятности, Самарину, неискушенному в литературных взаимоотношениях, передавали вежливые слова Пушкина, о которых в свое время сообщал Тютчеву Гагарин: примечательно, что автор письма, во-первых, и не помнит имена «очевидцев», а во-вторых, до 1873 года, насколько известно, ни разу не вспоминал об этой истории. Именно смерть любимого им поэта, современника Пушкина, невольно, но закономерно связала два эти имени в сознании Самарина. С Тютчевым, как представлялось интеллигентам старших поколений, вообще уходила «старая поэзия», поэзия как таковая, родоначальником которой был Пушкин, — и критический взгляд на ее историю был в 1873 году немыслим и даже противоестествен.

В 50-х годах легенда о Пушкине и Тютчеве сослужила интересам второй поэтической эпохи; в 70-х годах, в неблагоприятное для стихов время, она защищала красоту и единство русского поэтического предания в целом.

Очевидно, сразу же после смерти поэта И. Аксаков принялся писать работу о Тютчеве, масштабы которой поначалу самому автору были неясны. 1 августа 1873 года, сообщая Ф. В. Чижову о резком недовольстве, которое вызвали у него некрологи Тютчеву (кроме некролога, написанного А. Г. Жомини), он прибавлял: «Я готовлю об нем [Тютчеве] статью для Общества любителей русской словесности, которое надобно будет осенью созвать в особое заседание»[32].

Осенью и зимой 1873 года И. Аксаков усиленно работал над статьей. («Теперь пишу статью о Тютчеве»[33] — из письма Чижову от 25 октября 1873 года.) Скоро стало ясно, что статья перерастает в книгу. 20 января 1874 года в заседании Общества любителей российской словесности И. Аксаков прочел доклад, о чем подробно написал Н. П. Гилярову-Платонову.

«Я излагал тут целый трактат о судьбе русской поэзии или русского стихотворчества и гадал о его будущем <...> Поэзия пушкинского периода — носит на себе исторический признак, — именно признак исторической необходимости, — искренности, не только личной,

авторской, но и исторической. Она запечатлена *свежестью* формы, на самой форме слышна победа над материалом искусства (словом), — чувствуется радость художнического обладания. — Она была «священнодействием», отношение к искусству походило на *веру* в искусство. Во всех искусствах были такие моменты, и они не повторяются. <...> Никаким анализом не определите и не уловите вы прелесть стихов Пушкина, Тютчева и проч., — независимо от содержания. Можно указать сотни тысяч стихов, несравненно блестящее, искуснее и в техническом отношении, но преимущество прелести, свежести, искренности всегда останется за ними. Эта историческая печать свежести не сотрется. В Поэзии нашего времени недостает искренности, а главное нет raison d'être »* [34]; (курсив автора).

В этих строках — зерно эстетической концепции И. Аксакова, положенной в основу его книги о Тютчеве (вернее,той части, которая была посвящена собственно поэтическому наследию). «Искренностью» здесь названо то первородное отношение поэта к миру, которое, на взгляд И. Аксакова, существовало в отечественной культуре лишь однажды — в пушкинский век. Тютчев своим творчеством продлил этот век: и если Пушкин — «первый поэт», то историческая роль Тютчева по И. Аксакову, — быть в определенном смысле «последним поэтом» в России.

И. Аксаков — Чижову (25 марта 1874 года): «Я занят с утра до ночи и часть ночи: тороплюсь кончить свою работу о Тютчеве и по поводу Тютчева. <...> Я знаю, вы не любите Тютчева или относитесь к нему с предубеждением. Но беру с Вас слово вперед: прочесть мою книгу от доски до доски»[35]. И. Аксаков — Чижову (18 июля 1874 года): «Биография кончена и отпечатана, — это выходит почтенная по объему книжка, — будет выпущена в конце сентября»[36].

Однако сентябрьская книжка «Русского архива» за 1874 год, в которой публиковалась эта работа, была конфискована — пропаганда славянофильских воззрений Тютчева и И. Аксакова была слишком

---

* Смысла *(франц.)*.

опасна для властей. С большим трудом П. И. Бартенев, издатель журнала, и И. Аксаков сумели в тот год выпустить единичные экземпляры биографии Тютчева. Труд И. Аксакова не прошел незамеченным. 4 октября 1874 года Тургенев писал о нем Полонскому: «... первая половина очень хороша и тонка; вторая, где пошла славянофильская политика, плоха и сбивчива»[37].

Из всех отзывов на биографию Тютчева наиболее пространный принадлежит В. Г. Авсеенко. Здесь, кажется, намечен более строгий историко-литературный подход к наследию поэта: «Его творчество, так мало похожее на стихотворную профессию, исходило из той же непосредственной артистической потребности, как и у Пушкина; в его стихах часто слышались еще пушкинские звуки; но вместе с тем в них отражается уже та потребность рефлексии, которая сделалась одним из признаков новой поэзии. Философский элемент входит уже в самые ранние его произведения, и притом впервые в нашей поэзии»[38]. Так сразу же в ответ на концепцию последнего поэта прорастает идея о совершенно особом, в известной мере «первом» месте Тютчева, открывшего новые пути в русской поэзии.

В 1866 году Тютчев написал четверостишие:

Когда сочувственно на наше слово
Одна душа отозвалась —
Не нужно нам возмездия иного,
Довольно с нас, довольно с нас...

В 1869 году:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

В пределах данной работы нет возможности сколько-нибудь подробно рассмотреть литературную судьбу Тютчева в конце XIX — начале XX века: эта — во многом не разработанная — тема требует отдельного и обстоятельного исследования. Здесь же постараемся наметить лишь самые общие пунктирные линии.

«Тридцать лет (с середины пятидесятых и до середины восьмидесятых годов) в России не писали стихов (кроме немногих «избранных»), а если и писали, то стыдясь и таясь, как тургеневский Нежданов*»[1]. Хотя «круглой» цифры не получается — охлаждение к поэзии началось с начала 60-х годов — все равно срок большой; такого разрыва между поэтическими эпохами в XIX веке еще не было.

Поэтому и смена времен в литературе происходила медленно, затрудненно. В цитированном только что мемуаре Перцова засвидетельствовано, что с начала 80-х годов «опять понемногу стали вытаскивать из дедушкиных бюваров и наследственных письменных столов заветные альбомы, альбомчики, тетрадки в старых переплетах»[2]. Но общий климат эпохи долго был неблагоприятен к поэтическому преданию. В 1886 году вышло второе издание аксаковской биографии поэта, в рецензии на которое Н. Н. Страхов (еще в 1870 году высмеивавший профанов, берущихся утверждать, что «о Тютчеве никто даже никогда не слышал»[3]) признал: Тютчев — «один из наших классических поэтов, а его знают очень мало»[4]. И совсем неслышно прозвучали слова критика: «Что касается вообще до

* Герой романа «Новь».



стихотворений Тютчева, то нет сомнений, что это произведения высшего порядка, полная и чистая поэзия. <...> Не-поэтического, прозы, у него нет в стихах, и всю свою поэзию он дает нам в виде настоящего, чистого золота, каким она явилась у него в душе. <...> Кто возьмет его, как он есть, тот испытает самое полное наслаждение, какое может дать поэтическое творчество»[5].

Страхов, воспитанный литературными полемиками конца 50-х — начала 60-х годов, не может удержаться от противопоставления «поэтического» (Тютчев) — «не-поэтическому» (Некрасов и его школа). Но взаимоотношения между двумя направлениями в поэзии сейчас мало кого интересуют.

В 1891 году автор «Истории новейшей русской литературы» А. М. Скабичевский категорически заявлял: «Отрытый из среды посредственности и внезапно столь возвеличенный в мрачные годы общественного безвременья, Тютчев во всяком случае в достаточной мере скучноват в своих безукоризненных красотах, и, исключая некоторых его произведений, помещаемых в хрестоматиях, большинство их читается с трудом и ценится лишь самыми строгими и рьяными эстетиками»[6]. «Мрачными годами» названа поэтическая эпоха 50-х годов: выход первой тютчевской книжки, статей Некрасова, Тургенева.

В том же 1891 году поэт А. Н. Апухтин написал повесть «Дневник Павлика Дольского» (опубликована в 1900 году): ее герой, одинокий и надломленный, «повторял про себя „Последнюю любовь“ — одно из самых... любимых» им «стихотворений Тютчева:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...»[7].

Хотел того Апухтин или нет, но в устах его героя эти строки приобрели ту камерность, которая снова сопутствует в те годы восприятию тютчевской поэзии в читательском сознании. И снова, как и полвека назад, интимизации бытия поэта на читательском «этаже» соответствует очевидное пренебрежение критиков.



Медленно набиравшая силу третья поэтическая эпоха поначалу опиралась на своих современников: в середине 80-х годов властвует С. Я. Надсон, с конца 80-х по середину 90-х годов — время К. М. Фофанова.

Заново же воскрешать Тютчева эта эпоха, в отличие от эпохи 50-х годов, не спешила.

Переломным в посмертной судьбе поэта стал 1895 год, отмеченный двумя событиями: стремительным, даже скандальным приходом в литературу символистов, которые вскоре объявят Тютчева своим предтечей, и появлением в «Вестнике Европы» — независимо от манифестов новой школы — статьи крупнейшего русского мыслителя (и поэта) В. С. Соловьева «О поэзии Ф. И. Тютчева».

Те особые отношения Тютчева с миром природы, о которых уже писали современные поэту критики, осмыслены Соловьевым как совершенно уникальные в истории литературы: «Конечно, все действительные поэты и художники чувствуют жизнь природы и представляют ее в одушевленных образах; но преимущество Тютчева перед многими из них состоит в том, что он вполне и сознательно *верил* в то, что чувствовал, — ощущаемую им живую красоту принимал и понимал не как свою фантазию, а как *истину*. <...> у Тютчева < ... > важно и дорого то, что он не только *чувствовал*, а и *мыслил*, как поэт, — что он был *убежден* в объективной истине поэтического воззрения на природу»[8]. (Здесь и далее курсив автора.)

Новое понимание Тютчева как поэта-философа привело Соловьева к выводу, который во многом определил отношение к тютчевской поэзии в ближайшие двадцать лет: «Но и сам Гете не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, *темный корень* мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту *таинственную основу всякой жизни*, — природной и человеческой, — основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным и если не единственным, то, наверное, самым сильным во всей поэтической литературе. В этом



пункте — ключ ко всей его поэзии, источник ее содержательности и оригинальной прелести»[9].

Статья Соловьева открыла горизонты для целого философского направления в изучении Тютчева в конце XIX—начале XX века. При всех разногласиях между собой авторы новых работ отчетливо сознавали «космический характер» его поэзии: «Но и там, где поэзия Тютчева не направлена непосредственно на общее, отдельное переживание ставится в связи с общим, в нем тотчас же вскрывается вечная сторона жизни, — писал в 1913 году С. Л. Франк. — <...> поэзия Тютчева есть, так сказать, не простое описание внешнего вида вещей, а проникновение в их космическую глубину, вскрытие, в многообразии внешних явлений, немногих основных и общих сил бытия...»[10]

На рубеже столетий философское восприятие Тютчева перекрещивалось с литературным: в частности, усилиями символистов, которые Соловьева также включали в свою родословную — непосредственно после Тютчева. Но главное внимание символизм уделял тем внутренним ресурсам поэзии, которые, на взгляд его теоретиков, открыл Тютчев. «Мысль изреченная есть ложь. Этим парадоксом-признанием Тютчев, ненароком обличая символическую природу своей лирики, обнажает и корень нового символизма: болезненно пережитое современною душой противоречие — потребности и невозможности „высказать себя"»[11]. Так писал в статье «Заветы символизма» мыслитель и поэт Вяч. Иванов, и потребность в «другом поэтическом языке» остро осознавали в то время А. А. Блок, Андрей Белый, В. Я. Брюсов.

Двое последних стояли у истоков академического подхода к тютчевскому наследию. Белому принадлежат едва ли не первые опыты исследования поэтики Тютчева, Брюсов же активно разрабатывал биографию поэта и общие проблемы его творчества: с его предисловием вышло «Полное собрание сочинений» Тютчева под редакцией П. Быкова, которое в 1911—1913 годах неоднократно переиздавалось.



Литературная судьба Тютчева опять круто переменилась. В 1912 году Н. О. Лернер с удовлетворением замечал: «Книжный рынок давно уже ждал нового издания сочинений Тютчева. Библиографической редкостью стали не только издания 1854, 1868 и 1886 гг., но даже собрание, выпущенное в 1900 г <...> Три неполные собрания стихотворений, изданные «Русским архивом» (в последний раз в 1899 г.), тоже не часто удавалось найти у букинистов»[12]. Рецензируя «полное собрание» поэта, Б. М. Эйхенбаум тогда констатировал: «Это значит, что Тютчев *признан*. Теперь надо пристальнее всмотреться в душу этого человека, потому что, если нам нужна поэзия, то, может быть, еще нужнее жизнь издавшей ее души...»[13] (курсив автора). О новом и обостренном интересе к «жизни души» поэта свидетельствует написанное годом ранее письмо Мандельштама, сообщавшего Вяч. Иванову о том, что есть надежда получить неизвестные письма Тютчева: «Через несколько дней драгоценные бумаги будут в моем распоряжении и будет известно, какой праздник нас ожидает»[14].

Именно целостный взгляд, учитывающий все грани поэтической натуры, позволил Вяч. Иванову проницательно осмыслить проблему «Пушкин и Тютчев». «Творчество Тютчева, — писал он, — по своей природной структуре представляет собой более древний, по-видимому, тип. <...> Его [Тютчева] „лес“, „вода“, „небо“, „земля“ значат не то же, что „лес“, „вода“, „небо“, „земля“ у Пушкина, хотя относятся к тем же конкретным данностям и не заключают в себе никакого иносказания. Пушкин заставляет нас их увидеть в чистом обличии, Тютчев — анимистически их почувствовать. Тютчев — удивляющийся поэт, как удивлялся на вещи, на человеческую замкнутость их души и на нераскрытый человеческому сознанию смысл их жеста, человек-мифотворец древнейших времен. <...> Пушкин не удивляется, он метко схватывает сущности и право их именует...»[15] (Цитируемая статья была опубликована в 1922 году, но точка зрения Вяч. Иванова сложилась, как видно из его работ предшествующего десятилетия, много раньше)



Стремление освободить литературные отношения Пушкина и Тютчева от позднейших, «легендарных» наслоений прослеживается во многих работах начала XX века. Приведем лишь отрывок из неопубликованной (и, кажется, не предназначенной для публикации) статьи, написанной в 1903 году молодым филологом Н. В. Недоброво — в будущем автором глубоких исследований о писателях XIX и XX веков (Ахматова говорила, что в рецензии на сборник «Четки» Недоброво «угадал и предсказал» ее путь). «Влияние самого Пушкина, — замечал Недоброво, — было весьма слабо. <...> Пушкинские строки рельефно выступают из тютчевских стихотворений как чуждые их общему духу. Отличие и глубокое отличие Тютчева от Пушкина заключается в том, что Пушкин относился к жизни описательно, он чувствовал ее явления, чувствовал глубоко и в форме совершенной гармонии отражал их в своих несравненных произведениях. Тютчев же своим измученным и пытливым духом проникал в законы, управляющие явлениями, во внутреннюю их жизнь»[16].

«Полного» Тютчева чуть-чуть не дождался Толстой, и после смерти поэта продолжавший свой диалог с ним. 7 декабря 1899 года Гольденвейзер пришел к заболевшему Толстому, который незадолго до того прочел стихотворение «Тени сизые смесились...», опубликованное в «Новом времени» под заглавием «Сумерки». «Я всегда говорю, — сказал Толстой, — что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинства нет — это истинное искусство. Или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас его скажу. Лев Николаевич начал прерывающимся голосом: „Тени сизые смесились...“

Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: „все во мне, и я во всем“, голос его оборвался»[17].



17 июля 1906 года яснополянский летописец Д. П. Маковицкий записал: «Еще вернулись к стихам Тютчева, которые Л. Н. цитировал. Л. Н. сказал, что мысли и слова вышли так, как нельзя лучше; что это предназначено, это предвечно»[18].

Любопытно, что возрастной диапазон читателей Тютчева в эти годы сильно расширился: поэт и стиховед С. П. Бобров, который был почти на шестьдесят лет моложе Толстого, позже вспоминал, как мальчиком — в начале XX века — открывал «маленький томик Тютчева. И он бросится к тебе измученный, весь в слезах восторга, и громадный, потрясенный, истерзанный своей прихотливой и безрассудной тоской, своей полупризрачной гордыней, своим нечеловеческим смирением и сурово-пророческим и упоенным...»[19] Конечно, это описание сделано отнюдь не на мальчишеском языке, но опирается оно именно на первые, детские впечатления.

Подлинной славе всегда сопутствуют эпатирующие высказывания, они ее подчеркивают. В 1915 году появилась работа Д. С. Мережковского, посвященная «двум тайнам русской поэзии» — Некрасову и Тютчеву. Неожиданно подхватив весьма вульгарное противопоставление «поэта общественности» — «поэту индивидуальности», восходящее еще к 60-м годам, автор патетически восклицал: «К Некрасову мы были неправы в нашем декаденстве вчерашнем; будем же неправы и к Тютчеву в нашей сегодняшней общественности, чтобы восстановить правоту обоих»[20]. Но в те годы уже крепла традиция научного осмысления творчества Тютчева, и откровенно внеисторическая точка зрения не получила общественного кредита. Еще один курьезный пример реакции на культ Тютчева связан с именем писателя совершенно иного склада, иной культуры. 4 января 1912 года А. А. Кондратьев писал Б. А. Садовскому: «Один мой знакомый в присутствии почетного академика Бунина упомянул фамилию Тютчева. Бунин счел долгом изречь: „Ах, это тот самый Тютчев, что стихи в честь Муравьева-Виленского написал?“»[21]

Кризис символизма не поколебал значения Тютчева; более того, младшее литературное направление — акмеизм — в ходе полемики



«отбирает у старшего литературного течения канонизированного им поэта»[22]. Творческое лицо акмеизма определяла прежде всего поэзия Ахматовой и Мандельштама, их связь с Тютчевым — очевидна и устойчива. Ахматова, по свидетельству Г. В. Адамовича, знала наизусть «пол-Тютчева», а в 20-е годы на своем экземпляре /Стихотворения Федора Ивановича Тютчева. М., 1883; владельческая запись — 1922 год/ Ахматова сделала пометы, свидетельствующие о постоянном и весьма интимном обращении ее к тютчевской поэзии. 4 декабря 1925 года по книжке Тютчева Ахматова «гадала на Н. Н. П<унина> , своего будущего мужа, — и выпала строка «О, как убийственно мы любим...». А против строк «Усопших образ тем страшней, Чем в жизни был милей для нас» /из стихотворения «Из края в край, из града в град...»/ Ахматова написала: «Неужели это так?»

«...Все цитаты Мандельштама из Тютчева, — замечает исследователь, — помимо своих собственных функций, являются компонентом „одной великолепной цитаты", образуемой всей суммой <...> тютчевских реминисценций и связанной с „цитированием" некоторых общих принципов поэтики Тютчева»[23].

Можно привести немало примеров того, что второе воскрешение Тютчева оставило неизгладимый след в русской культуре.

После 1917 года издания Тютчева обогатились новыми произведениями, а научное изучение его поэзии приобрело широкий размах. В первые послереволюционные годы возникают такие масштабные исследовательские замыслы, исполнение которых затруднительно и в наши дни. 24 марта 1920 года Ю. А. Никольский сообщал Л. Я. Гуревич: «Я задумал работу словаря Тютчева. Каждое слово (напр<имер>„укора") во всех его комбинациях. Статистично. А потом вдруг: „Метафизика Тютчева". Я это разъяснил Бореньке [Б. М. Эйхенбауму], но тогда у меня в глазах были видения Данте (после операции), и он вряд ли разобрал, не ответил»[24].

В 20—30-е годы наука о Тютчеве отличалась высокой филологической культурой и целеустремленностью в освоении всех сторон его



наследия. Значителен вклад Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, Л. П. Гроссмана, Г. И. Чулкова, Л. В. Пумпянского, В. В. Гиппиуса, Е. П. Казанович, К. В. Пигарева, Б. Я. Бухштаба, Д. Д. Благого и других ученых. Примечательно, что уже в этот период появились две специальные работы, посвященные литературной судьбе поэта [25]. В 30-х годах вышло два «Полных собрания стихотворений» Тютчева: двухтомник в издательстве «Academia» (М.; Л., 1933—1934) и том в «Большой серии» «Библиотеки поэта», издаваемой «Советским писателем» (Л., 1939), создавшие необходимую основу для изучения его поэтического творчества во всем объеме.

Однако к читателю Тютчев приходил с трудом: помимо не уменьшающейся со временем сложности тютчевского стиха (вспомним, что даже Тургеневу некоторые обороты казались «устарелыми») сказывалась и возродившаяся традиция зачислять его творчество в багаж «чистого искусства», да и облик Тютчева — политического мыслителя вызывал настороженность у новой аудитории.

В последние двадцать лет поэзия Тютчева все явственнее перемещается в зону повышенного культурного интереса: за новыми изданиями невозможно уследить, число исследований еще менее поддается исчислению, критика охотно говорит о «тютчевских традициях» в современной поэзии. И не случайно, что именно теперь появилась обстоятельная библиография произведений Тютчева и литературы о нем [26] — залог нового углубления наших знаний о поэте и об истории его восприятия.

Литературная судьба Тютчева продолжается; безусловно, она таит в себе новые повороты. И потому последней главы в этой книжке быть не может.

ПРИМЕЧАНИЯ

«ТОМОВ ПРЕМНОГИХ ТЯЖЕЛЕЙ»

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма, М.; Л., 1963, т. 3, с. 254—255 (далее: *Тургенев. Письма)*.

[2] Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев. (Биографический очерк). М., 1874, стлб. 5.

[3] А<всеенко В. Г.> Ф. И. Тютчев. — Русский вестник, 1874, № 11, с. 415.

[4] Мещерский В. П. Свежей памяти Ф. И. Тютчева. — Гражданин, 1873, № 31, 30 июля, с. 847.

[5] Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева. — В сб.: Урания. Тютчевский альманах. 1803—1928. Л., 1928, с. 11.

[6] См.: Лебедев Е. «Как слово наше отзовется...» — В кн.: Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1978, с. 6.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И ТРИ ГОДА

[1] Русская старина, 1879, № 10, с. 350.

[2] Из письма А. И. Георгиевскому от 13 декабря 1864 года. — Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957, с. 448. (Далее: *Стихотворения. Письма*).

[3] Кюхельбекер В. К. Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности. — В сб.: Литературно-критические работы декабристов. М., 1978, с. 207.

[4] Из письма И. С. Гагарину от 7 июля 1836 года. — *Стихотворения. Письма,* с. 375.

[5] Отечественные записки, 1822, ч. 10, № 25, с. 279.

[6] Московский телеграф, 1825, ч. 1, с. 75.

[7] Цит. по: Бильбасов В. Самарин Гагарину о Лермонтове. — Новое слово, 1894, № 2, с. 38.

[8] Галатея, 1829, № 1, с. 40.

[9] См.: Николаев А. А. Судьба поэтического наследия Тютчева 1822—1836 годов и текстологические проблемы его изучения. — Рус. лит., 1979, № 1, с. 134.

[10] Русский архив, 1866, № 12, стлб. 1720.

[11] Лит. газ., 1831, № 16, с. 132.

[12] Московский телеграф, 1831, № 4, с. 538—539.

[13] Цит. по: Дарвин М. Н. Некрасов и Тютчев в литературной жизни «Современника» первой половины 1850-х годов. — В сб.: Н. А. Некрасов и русская литература, вып. 4. Ярославль, 1977, с. 74.

[14] Журнал Министерства народного просвещения, 1836, № 6, с. 618.

[15] См.: Журавлева А. И. Стихотворение Тютчева «Silentium!» (К проблеме «Тютчев и Пушкин»).—В сб.: Замысел, труд, воплощение... М., 1977, с. 180.

[16] Скалдин А. Обманувшийся зрячий. — Художественные известия Саратовского отдела искусств, 1919, № 19 (46), 8—11 марта, с. 5.

[17] Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве. — В его кн.: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 46.

[18] Тынянов Ю. Н. Пушкин и Тютчев. — В его кн.: Пушкин и его современники. М., 1969, с. 185 и след.

[19] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. М.; Л., 1951, т. 7, с. 118.

[20] Цит. по комментариям А. П. Чудакова в кн.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 399.

[21] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. М.; Л., 1949, т. 10, с. 16.

[22] *Стихотворения. Письма.* с. 376.

[23] Цит. по: Гиллельсон М. И. Поэзия Лермонтова в салоне Елагиных. — В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979, с. 254—255.

[24] Русский архив, 1905, № 5, с. 131.

[25] Гинзбург Лидия. О лирике. Изд. 2-е, Л., 1974, с. 93.

[26] Там же, с. 96.

[27] Гиппиус В. В. Ф. И. Тютчев. — В кн.: Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1939, с. 8.

[28] Русский архив, 1879, № 5, с. 119.

[29] *Стихотворения. Письма,* с. 376.

[30] Цит. по переводу в кн.: Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 82—83.

[31] Тынянов Ю. Н. Пушкин и Тютчев. — В его кн.: Пушкин и его современники, с. 178.

[32] Кожинов В. Книга о русской лирической поэзии XIX века. Развитие стиля и жанра. М., 1979, с. 114.

[33] См.: Николаев А. А. О тютчевских «циклах» «Современника». — Рус. лит. 1976, № 4, с. 116—118.

[34] *Стихотворения. Письма,* с. 375—376.

[35] Лит. наследство, т. 58, с. 132.

[36] См.: Бильбасов В. Самарин Гагарину о Лермонтове, с. 40—41.

[37] См.: Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., 1929, с. 344 и след.

[38] ОР ГБЛ, ф. 332, 15, 10, л. 18.

[39] Плетнев П. А. Сочинения и переписка. Спб., 1885, т. 3, с. 390.

[40] Библиотека для чтения. 1844, т. 64, Некролог, с. 2.

[41] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., Спб., 1878, т. 1, с. 327.

[42] Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1838, № 48, 26 ноября, с. 957.

[43] Русский архив, 1897, № 4, с. 559.

[44] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., М., 1954, т. 4, с. 342.

[45] Отечественные записки, 1846, т. 48, № 10, отд. 4, с. 42.

[46] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М., 1952, т. 8, с. 386.

[47] Аксаков К. С. О современном состоянии литературы. Письмо первое. Литература предыдущей эпохи. Публикация В. А. Кошелева.—В сб.: Проблемы реализма, вып. 5, Вологда, 1978, с. 173.

[48] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Спб., 1896, т. 3, с. 66.

[49] Соллогуб В. А. Воспоминания. М.; Л., 1931, с. 412—413.

[50] См.: Азадовский М. К. Неизвестный поэт-сибиряк (Е. Милькеев). — В его кн.: Статьи и письма. Неизданное и забытое. Новосибирск, 1978, с. 15—42.

[51] См.: Козырев Б. М. Мифологемы Тютчева и ионийская натурфилософия. — В сб.: Историко-филологические исследования. Сб. статей памяти акад. Н. И. Конрада. М., 1974, с. 121—128.

«И КАК, ПРОШУ, ДАЛОСЬ НАМ ЭТО...»

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952, т. 9, с. 190. (Далее ссылки на эту статью даются в тексте.)

[2] См.: Штейнгольд А. М. «Чужое слово» в критической статье. — В сб.: Лирическая и эпическая поэзия XIX века. Л., 1976, с. 119.

[3] Эйхенбаум Б. М. Некрасов. — В его кн.: О поэзии. Л., 1969, с. 43.

[4] См.: Скатов Н. Н. Некрасов и Тютчев. — В сб.: Н. А. Некрасов и русская литература. 1821—1971, М., 1971, с. 225—226.

[5] См.: Jakobson R. Notes préliminaires sur les voies de la poésie russe. – In: La poésie russe. Paris, 1965, p. 25–26.

[6] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. 9, с. 237.

[7] Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900, т. 8, с. 200.

[8] Раут. Лит. сборник <...>. Издание Н. В. Сушкова. М., 1851, с. 76.

[9] *Стихотворения. Письма,* с. 395.

[10] Раут. Ист. и лит. сборник <...>. Издание Н. В. Сушкова. М., 1852, с. 201.

[11] Пигарев К. В. Стихотворения Тютчева в «Библиотеке Поэта». — В кн.: Издание классической литературы. Из опыта «Библиотеки Поэта». М., 1963, с. 179.

[12] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. т. 2, Спб., 1896, с. 674.

[13] Старина и новизна, 1914, кн. 18, с. 30.

[14] Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. 3, с. 621.

[15] Там же, с. 640.

[16] ЦГАЛИ, ф. 450, оп. 1, № 16, л. 162—162 об.

[17] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2551, л. 15 об.

[18] Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928, с. 22.

[19] *Тургенев. Письма,* т. 2, с. 216—217.

[20] Русское обозрение, 1894, № 11, с. 4.

[21] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2551, л. 17 об.

[22] Современник, 1854, № 2, отд. лист.

[23] См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978, т. 2, с. 71.

[24] См.: Благой Д. Тургенев — редактор Тютчева. — В кн.: Тургенев и его время. Первый сборник. М., Пг., 1923, с. 142—163; Чулков Г. Судьба рукописей Тютчева. — В кн.: Тютчевский сборник (1873—1923). Пг., 1923, с. 48—62.

[25] См.: Пигарев К. В. Судьба литературного наследства Ф. И. Тютчева. — Лит. наследство, т. 19—21, с. 376—383.

[26] Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890, ч. 1, с. 134.

[27] Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев. (Биографический очерк), стлб. 49.

[28] ОР ГПБ. ф. 148, № 316, л. 2 об.

[29] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Сочинения, М.; Л., 1963, т. 5, с. 423. (Далее: *Тургенев. Сочинения.* Ссылки на эту статью даются в тексте.)

[30] Фет А. А. Мои воспоминания, ч. 1, с. 134.

[31] П. В. Анненков и его друзья. Спб., 1892, с. 642.

[32] *Тургенев. Сочинения,* т. 14, с. 19.

[33] *Тургенев. Письма,* т. 2, с. 222.

[34] Раут. Кн. 3. Ист. и лит. сборник. Издание Н. В. Сушкова, М., 1854, с. 350.

[35] Там же, с. 351.

[36] Пантеон, 1854, т. 14, кн. 3, отд. IV, с. 17.

[37] Там же.

[38] Пантеон, 1854, т. 14, кн. 4, отд. V, с. 31.

[39] Там же.

[40] Дружинин А. В. Собр. соч., Спб., 1865, т. 6, с. 803.

[41] Москвитянин, 1854, т. 3, отд. VI, с. 29.

[42] Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М., Л., 1930, с. 143.

[43] Пантеон, 1854, т. 15, кн. 6, отд. IV, с. 10.

[44] Там же.

[45] Отечественные записки, 1854, т. 94, кн. 7, отд. IV, с. 44.

[46] См.: Егоров Б. Ф. С. С. Дудышкин — критик. — Учен. зап. Тартус. гос. ун-та, 1962, вып. 119, с. 202, 225.

[47] ЦГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, л. 20—30 об.

[48] Отечественные записки, 1854, т. 94, кн. 8, отд. IV, с. 55. Далее ссылки на эту статью даются в тексте.

[49] Пантеон, 1854, т. 16, кн. 8, отд. V, с. 5.

[50] Там же.

[51] Там же.

[52] Библиотека для чтения. 1854, т. 127, № 9, отд. VI, с. 3.

[53] Там же, с. 4.

[54] Современник, 1854, т. 47, № 9, Современные заметки, с. 75.

[55] Русский архив, 1912, № 9, с. 144.

[56] Пантеон, 1854, т. 17, кн. 10, отд. V. с. 21.

[57] Тынянов Ю. Н. Пушкин и Тютчев. — В его кн.: Пушкин и его современники, с. 188.

[58] Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936, с. 69.

[59] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., М., 1953, т. 16, с. 28.

[60] Атеней, 1858, ч. 3, № 20, с. 218—219. См. об этом: Кожинов В. В. О «поэтической эпохе» 1850-х годов (к методологии истории русской литературы). — Рус. лит., 1969, № 3, с. 24—35.

[61] Анненков П. В. Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857, с. 49.

[62] Лит. наследство, т. 51/52, с. 97.

[63] Тургенев и круг «Современника». Неизданные материалы, 1847—1861, М.; Л., 1930, с. 424.

[64] Лит. наследство, т. 73, кн. 2, с. 121.

[65] См.: Lane R. S. Tyutchev's place in the history of Russian literature. - Modern Language Review, 1976, vol. 7, № 2, p. 344—356.

[66] Дружинин А. В. Собр. соч., т. 6, с. 372.

[67] См.: Дарвин М. Н. Некрасов и Тютчев в литературной жизни «Современника» первой половины 1850-х годов, с. 64—65.

[68] Дружинин А. В. Собр. соч., т. 7, с. 286.

[69] Там же, с. 488.

[70] Там же, с. 286.

[71] Там же, с. 488. Далее ссылки на эту статью даются в тексте.

[72] Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями в 2-х т. М., 1978, т. 1, с. 306.

[73] Русская беседа, 1857, кн. 1, Обозрение, с. 6.

[74] [Григорьев А. А.] Стихотворения А. С. Хомякова. — Время, 1861, № 5, Критическое обозрение, с. 57.

[75] Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. М.; Л., 1962, т. 5, с. 28.

[76] См.: Мастерская. М., 1976, вып. 2, с. 37.

[77] Русское слово, 1859, № 2, отд. II, с. 64. Далее все ссылки на эту статью даются в тексте.

[78] Учен. зап. 2-го отделения Академии наук, Спб., 1859, кн. 5, с. 57. Об этой статье см.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и Тютчев. — В его кн.: Пушкин и его современники, с. 180—182.

[79] Шевченко Т. Собр. соч. в 5-ти т., М., 1956, т. 5, с. 212—213.

[80] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. М., 1949, т. 15, с. 488.

[81] Достоевский Ф. М. Письма, М.; Л., 1928, т. I, с. 167—168.

[82] Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1, с. 73.

[83] Там же, т. 2, с. 18.

[84] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 191—192.

[85] Русский архив, 1899, № 6, с. 272.

[86] Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1, с. 71.

[87] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. М., 1952, т. 10, с. 335.

[88] См.: Лаврецкий А. Литературно-эстетические взгляды Некрасова. — Лит. наследство, т. 49/50, с. 66.

[89] См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях

современников, т. 1, с. 258, 416—417; ср.: Благой Д. Читатель Тютчева — Лев Толстой. — В сб.: Урания. Тютчевский альманах, с. 224—256.

[90] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. (юбилейное изд.). М., 1949, т. 60, с. 265. (Далее: *Толстой*).

«О КНИГЕ СЕЙ ТЫ ВСПОМЯНИ...»

[1] Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1882, т. 7, с. 132.

[2] Плетнев П. А. Сочинения и переписка, т. 3, с. 511—512.

[3] См.: Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 7, с. 132.

[4] См.: Брандт Р. Ф. Материалы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его поэзия». — Изв. ОРЯС, 1911, т. 16, кн. 2, с. 140.

[5] Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, с. 324.

[6] *Стихотворения. Письма,* с. 464.

[7] Там же, с.465.

[8] Цит. по примечаниям К. В. Пигарева в кн.: Тютчев Ф. И. Лирика. М., 1966, т. 2, с. 396.

[9] Русский вестник, 1868, № 9, с. 364.

[10] *Тургенев. Сочинения,* т. 14, с. 36.

[11] См.: Пигарев К. В. Судьба литературного наследия Ф. И. Тютчева, с. 385, 418.

[12] См.: Страхов Н. Н. Некрасов и Полонский. — В его кн.: Заметки о Пушкине и других поэтах. 2-е изд. Киев, 1897, с. 129.

[13] См.: Всемирная иллюстрация, 1873, № 244, с. 155.

[14] Котляревский Н. В. Канун освобождения. 1855—1861. Пг., 1916, с. 476.

[15] Всемирная иллюстрация, 1869, № 5, с. 75.

[16] Современное обозрение, 1868, т. 1, с. 317. Далее ссылки на эту статью даются в тексте.

[17] См.: Николаев А. Художник — мыслитель — гражданин (Читая Тютчева). — Вопросы литературы, 1979, № I, с. 156.

[18] Эйхенбаум Б. Д. С. Мережковский — критик.—Северные записки, 1915, № 4, с. 131.

[19] Перцов П. Литературные воспоминания. 1890—1902. М.; Л., 1933, с. 88.

[20] Дело, 1869, № 5, 3-я пагинация, с. 24. Далее ссылки на эту статью даются в тексте.

[21] Погодин М. П. Воспоминания о Ф. И. Тютчеве — Московские ведомости, 1873, 29 июля, с. 3.

[22] *Толстой,* т. 61, с. 261.

[23] Там же, т. 62, с. 9.

[24] Исторический вестник, 1903, № 7, с. 194—195.

[25] РО ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, № 48, л. 140—143 об.

[26] И. С. Аксаков в его письмах. М., 1892, ч. 1, т. 3, с. 432.

[27] РО ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, № 48, л. 138—138 об.

[28] Гражданин, 1873, № 30, 23 июля, с. 842.

[29] Мещерский В. П. Свежей памяти Ф. И. Тютчева, с. 846—847.

[30] ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1278, л. 13—13 об.

[31] Пигарев К. В. Из откликов современников на смерть Ф. И. Тютчева. — Изв. АН СССР, сер. лит-ры и языка, 1973, т. 32, вып. 6, с. 536—537.

[32] ОР ГБЛ, ф. 332, 15, 9, л. 1 об.

[33] Там же, л. 5 об.

[34] И. С. Аксаков в его письмах. Спб., 1896, ч. 2, т. 4, с. 272—273.

[35] ОР ГБЛ, ф. 332, 15, 9, л. 6 об.

[36] Там же, л. 12.

[37] *Тургенев. Письма,* т. 10, с. 312.

[38] А<всеенко В. Г.> Ф. И. Тютчев. с. 423.

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

[1] Перцов П. П. Русская поэзия тридцать лет назад. (Из литературных воспоминаний). — В сб.: Свиток, № 4, М., 1926, с. 249.

[2] Там же, с. 250.

[3] Страхов Н. Н. Некрасов и Полонский. — В его кн.: Заметки о Пушкине и других поэтах, 2-е изд., с. 131.

[4] Страхов Н. Н. Ф. И. Тютчев. — Там же, с. 269.

[5] Там же, с. 270—271.

[6] Скабичевский А. М. История новейшей литературы (1848—1890). М., 1891, с. 505—506.

[7] Апухтин А. Н. Соч., изд. 3-е, Спб., 1898, с. 405.

[8] Соловьев В. С. Собр. соч., Спб., б. г., т. 7, с. 118—120.

[9] Там же, с. 125.

[10] Франк С. Космическое чувство в поэзии Тютчева. — Русская мысль, 1913, № 11, 2-я пагинация, с. 13.

[11] Иванов Вячеслав. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. М., 1916, с. 121.

[12] Русский библиофил, 1912, № 5, с. 87.

[13] Запросы жизни, 1912, 23 ноября, с. 2708.

[14] Письма О. Э. Мандельштама к В. И. Иванову. — Записки отдела рукописей ГБЛ, М., 1973, вып. 34, с. 274. (Публикация А. А. Морозова.)

[15] Иванов Вячеслав. О новейших теоретических исканиях в области художественного слова. — В кн.: Научные известия. Сб. второй. Философия. Литература. Искусство. М., 1922, с. 168.

[16] РО ИРЛИ, 15810, XCVII б. 5, л. 5—5 об.

[17] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого, с. 59.

[18] Лит. наследство, т. 90, кн. 2, с. 177.

[19] Бобров С. Мальчик. М., 1976, с. 449.

[20] Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев. Пг., 1915, с. 119.

[21] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, № 114, л. 4 об.

[22] Тоддес Е. А. Мандельштам и Тютчев. — IJSLP, 1974, vol. 17, p. 78.

[23] Левинтон Г. А. «На каменных отрогах Пиэрии» Мандельштама: материалы к анализу. — Russian Literature, 1977, vol. 5, № 3, p. 221.

[24] ЦГАЛИ, ф. 131, оп. 1, № 163, л. 71—71 об.

[25] См.: Благой Д. Тютчев, его критики и читатели. — В кн.: Тютчевский сборник, с. 63—105; Розанов И. Запоздалая слава. — В его кн.: Литературные репутации. М., 1928, с. 50—62.

[26] См.: Ф. И. Тютчев. Библиографический указатель произведений и литературы о жизни и деятельности. 1818—1973. Сост.: И. А. Королева, А. А. Николаев. Под ред. К. В. Пигарева. М., 1978. Некоторые дополнения и уточнения см. в рецензиях: Мансуров Е. Томов премногих тяжелей. — В мире книг, 1978, № 12, с. 87; Осповат Ал. Полтора века тютчевианы. — Вопросы литературы, 1979, № 5, с. 281—283.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* Указатель составил Д. В. Кузьмин. В указатель не включено имя Ф. И. Тютчева, а также имена, лишь косвенно связанные с темой книги. Курсивом даны ссылки на примечания в конце книги.

Александр Львович Осповат

«КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ...»

ИБ № 486

Заведующая редакцией
Т. В. Громова
Редактор *Э. Б. Кузьмина*
Художник *А. А. Кирсанов*
Художественный редактор
А. Б. Маркевич
Технический редактор
Е. И. Полякова
Корректор *О. И. Поливанова*

Слано в набор 29.11.79. Подписано в печать 30.06.80.
А-01623. Формат 70×108 1/32. Бум. офсетная № 2 100 гр.
Гарнитура таймс. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 4,9. Уч.-изд. л. 5,9. Тираж 70 000 экз.
Заказ № 21. Изд. № 2539. Цена 30 коп.

Издательство «Книга»
Москва, К-9, ул. Неждановой, 8/10

Ярославский полиграфкомбинат
Союзполиграфпрома
при Госкомиздате СССР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Осповат А. Л.

О 75 «Как слово наше отзовется...»: О первом сборнике Ф. И. Тютчева. — М.: Книга, 1980. — 112 с., ил. — (Судьбы книг).

В 1854 г. увидел свет первый сборник Ф. И. Тютчева «Стихотворения». Именно это издание открыло читающей России великого поэта. Среди первых читателей были А. А. Фет, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский.

Автор рассказывает о сложной предыстории сборника, о решающей роли Н. А. Некрасова и И. С. Тургенева в появлении этого издания. Прослежена судьба сборника, его восприятие в разные периоды XIX и XX веков. Автор широко использует материалы архивов.

Для книголюбов и любителей поэзии.

О $\frac{61001-061}{002(01)-80}$ 7-80 76.1

30 коп.

Серия «Судьбы книг» рассказывает
о выдающихся произведениях
отечественной и зарубежной литературы;
прослеживает, как зарождался
замысел будущей книги,
как отразился в ней облик эпохи,
как восприняли книгу ее современники
и читатели новых поколений.

В 1979 году вышли в свет:
Горная В. З.
Мир читает «Анну Каренину»

Травушкин Н. С.
Жерминаль — месяц всходов
(Судьба романа Э. Золя)

Троицкий В. Ю.
Книга поколений
(О романе И. С. Тургенева
«Отцы и дети»)

КНИГА